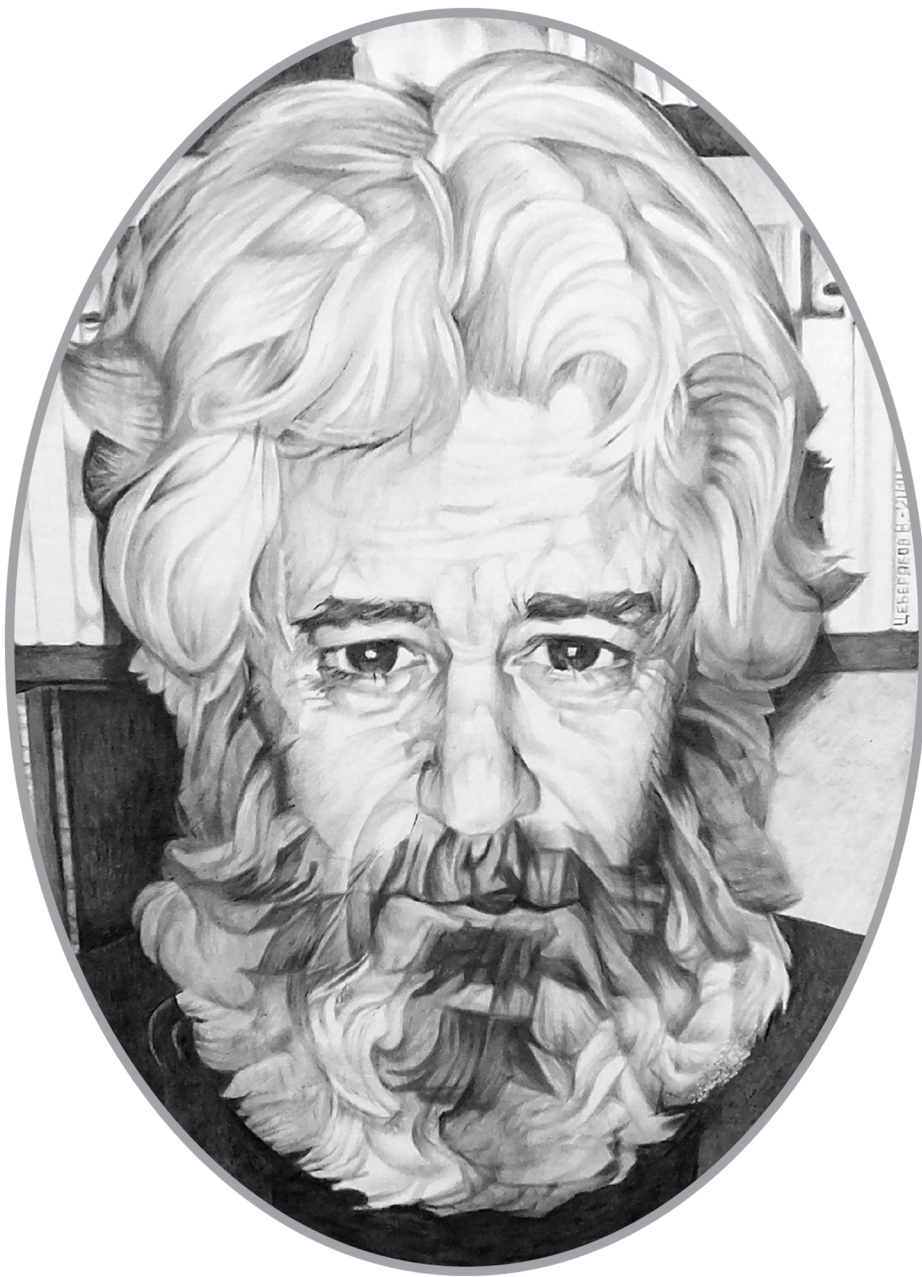




ПРИМОРСКАЯ, 49

№ 4, 2022



Портрет библиофила и поэта В.С. Сербского

Виктор Цеберябов

2010. Сухая кисть. 80х60

ПРИМОРСКАЯ, 49

**Альманах №4
Иркутского отделения
Союза литераторов России**

**Братск
2022**

ББК 84 (2 = 411.2) 6
П 76

+12

Приморская, 49. Альманах № 4 Иркутского отделения Союза литераторов России : [сборник] / группа авторов; сост. : В. Монахов, Е. Попова. – Братск : Полиграф, 2022. – 148 с.

Память о библиофиле и поэте В.С. Сербском крепко выросла в историю города на Ангаре. У Братской ГЭС на улице Наймушина, 54 уже который год работает поэтическая библиотека, которая носит имя создателя. А теперь ежегодно Иркутское отделение Союза литераторов, что 30 лет тому назад учредил со товарищами Виктор Соломонович, издаёт альманах «Приморская, 49». И в четвёртом выпуске публикуются авторы, которые свой творческий путь связывали с библиотекой имени В.С. Сербского.

- © Иркутское региональное отделение Союза литераторов России
- © Библиотека русской поэзии XX века им. В. С. Сербского
- © Составители – В. Монахов, Е. Попова
- © Оформление «Полиграф»

Литература сделала паузу и кушает «твикс»?!

*Было время славы и полета,
Но десятилетия подряд
Длилась и подземная работа,
О которой вслух не говорят.
Илья Фояков*

*Поэт живёт при любом режиме,
Каждый режим погибает без поэта.
Из дневника*

«Настоящий талант встречается редко»

*Л.И. Брежнев,
отчетный доклад
ЦК КПСС XXV съезду партии.*

«Если человек не запечатлел себя в Слове, в литературе, то он не жил», — такую мысль повсеместно распространяет издатель и писатель Юрий Кувалдин. Этим заблуждением живут многие русские начитанные люди. Особенно те, кто активно склоняется к сочинительству. А между тем ещё Александр Пушкин, наше всё, давший русскому сообществу смертельную дозу классической литературы, не уставал повторять, что литература теперь частное дело пишущего и читающего. Полтора столетия спустя эту мысль попытался отстоять Андрей Синявский в среде чрезмерно политизированных советских современников. Известно, что это закончилось для него судом, лагерем и вынужденным бегством за границу. Я искренне порадовался, что минувшее литературное двадцатилетие как-то попыталось реабилитировать мысль о частном деле писателя и читателя в сознании капиталистической общественности. Но что-то не получается прижиться этой очевидности среди нас, потому что то и дело преобладают слухи о кризисе литературы, избытии мелкотемья, колоссальном упадке в изящной словесности. Поэтому произво-

дители, и особенно потребители литературы, очень часто остаются недовольными её итогами. Хотя, даже если бегло пробежаться по истории вопроса, так было всегда во всём мире, в том числе и в России. И наши дни не исключение. Вслед за такими агрессивными критиками я тоже сначала думал о кризисе современной литературы, поддерживал устно и письменно эту версию, пока случайно не открылась слепцу простая мысль, что никакого кризиса в изящной словесности, в том числе в ее основной для стихотворцев части – поэзии, не было и нет. Просто проза и поэзия развиваются более медленными темпами, чем читателю того хотелось бы. В ней часты затяжные паузы, которые длятся порой десятилетиями. Паузы, что вполне нормально и закономерно, а не кризисы. И никакой трагедии для литературы и её читателя в этом нет. Это ведь новости нуждаются в постоянном обновлении, а поэзия чем старше, тем пронзительнее. Например, человечеству потребовалось без малого четыреста лет, чтобы роман Сервантеса «Дон Кихот» осознать и признать самым лучшим литературным произведением в мире. Хотя всегда были мыслители, которые убеждали в этом человечество подвластными им средствами. В России самым известным и авторитетным сторонником Сервантеса был Фёдор Достоевский. И как считает поэт Кирилл Ковальджи, продолжительные паузы литературе идут только на пользу. Вот и при нас (и на нас) литература сделала свою очередную творческую паузу. Писатели вынужденно присели в тени тишины помолчать. Какие они услышат последние новости тишины, никто, может быть, так и не узнает. Мне могут возразить: а что значит – помолчать? Вон столько за двадцать лет написано, сборниками завалены полки книжных магазинов – не разгрести! Цокают каблучки рифм, подтанцовывают лаковые штиблеты ритмов, нахально посвистывает косноязычье верлибра. Только что такого написано? Попробуйте по памяти, навскидку, прочесть лучшее? Ничего не помнится – сплошные метатексты в метапаузе интернетмесива, где то и дело идет подмена понятий: личную неудачу излишне эмоциональные литераторы возво-

дят в систему провалов всей поэтической системы, не воспринимая паузу и себя в ней как законную формулу литературной жизни. Не раз скатывались к мысли о конце поэзии, которая вот-вот исчерпается в самом её начале, даже наши классики Баратынский и Пушкин. Пушкина из-за частого цитирования трогать не будем, но вот какую мысль попытался нам втолковать два века тому назад Евгений Абрамович:

*Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.*

В таких же сходных условиях оказалось и наше поколение. Поэтому меня давно не покидает твёрдое ощущение, что мы прожили самое равнодушное время, в котором, появившись поэты ранга Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Тютчева, Хлебникова, Цветаевой, Пастернака, Ахматовой или кого-то ещё из равновеликих, то страна, и особенно её народ-богоносец, их даже не заметили бы. А уж оценить бы новоявленных поэтов и вовсе не взялись. Разве только тысячи две-три тонких знатоков и ценителей написали бы в своих малотиражных газетах, журналах, в дневниках на сайтах одобрительные или ругательные слова, которые вскоре забылись бы вместе со стихами.

На дворе, бушуя, расширяется информационное пространство, а в нём доминирует дезинформация, влияние коей, по наблюдению Юрия Беликова, привело к тотальному разрушению и забвению поэзии, которую без суда и следствия этапировали за колючую проволоку духовного ГУЛАГа, где она бесприютно отсиживается под замком в одиночной камере постмодернистского плаги-АРТа.

Поэтому открываются сегодня поэты не уровня Пушкина или Хлебникова, а шутовского мастерства самого известного русского графомана Дмитрия Хвостова. Разухабистый стиль первого русского постмодерниста (чего стоит только одно это: «зимой весна бывает летом») гр. Хвостова из пушкин-

ского времени стал преобладать в современном стихотворном слове. Сегодня творчество гр. Хвостова осознано и воспринято многими за образец, его читают, на него ссылаются, он новоявленное торжество современного помутневшего от принудительной ко-медийности и пародийности божественного глагола. Нынче время Хвостовых, хотя фамилии ангажирующих публику поэтов другие. И на их фоне гр. Дмитрий Хвостов выглядит примерным классиком. А коль поэты такие, то прошедшие годы не жаль на время паузы. Ведь пауза в десятки лет литературе не мешает. Поэтому я самокритично причисляю всех нас, в том числе и себя, к периоду литературной паузы, в которой:

Воспроизводство хлеба и стихов:

Такая повседневная работа...

Но мир запуган ртами едоков,

Готовящих поэтам эшафоты!

Автор этих плакатных строк ваш покорный слуга. Скромная персона, почти никому не известный сочинитель текущего литературного процесса написал эти строки лет тридцать тому назад, по существу отказавшись от божественного предназначения поэзии, которое царило до недавних пор. Сочинил, потому что интуитивно ощутил: поэт как гений, как личность умер, а взобрался на постамент (памятник себе) производитель текстов, массовый н(з)аполнитель попсовой задушевности, повседневный отражатель биологических мыслей всех и каждого в отдельности – тварь словесная. Главный итог русской литературы последнего десятилетия: автор перестал быть привилегированным обладателем божественного глагола, а обзавелся униформой «белого воротничка» и производит рыночный товар, который перестал пользоваться спросом за пределами эстрады, сделавшей литературу законным продуктом экономики, где в базисе все еще стоит, но уже разрушается Слово. Пусть я повторюсь, но напомним, что коллективный разум поэзии Хвостовых подменил обожествлённую личность поэта – коллективный автор действует сегодня на поле дезинформа-

ции, где когда-то зеленела поэзия. Потому что производство стихов и литературы в целом подчинено не потребности духа, а плоти, живущей по законам рынка. И кстати, классика хорошо вписывается в действующий рынок, поэтому с классиками все понятно: их нужно только вовремя переиздавать и изучать. А вот с новыми именами проблема: они кобелятся, страдают, не хотят писать, вплоть до разрушения и потери личности. Поэт сливается воедино с Ничто! Всякий новый поэт – не личность, каждый может стать каждым. Торжествует всеобщая похожесть, с помощью которой авторы стараются заполнить литературную пустоту будущего твари словесной. Я всего лишь поделился своими ощущениями и наблюдениями. Многим они могут показаться бездоказательными, и пусть это их порадует. А мне достаточно того, что вы не огорчились моими словами. Если меня настойчиво попросят назвать имена лучших поэтов минувшего двадцатилетия, то, не смущаясь, скажу, что это Баратынский, Пушкин, Хлебников, Цветаева и (читай выше)... Без новых поэтов мы прожить это двадцатилетие паузы смогли, а без классиков – никогда не проживём! Потому что из русских душу не вынуть, и, если поэтического человека поставить перед выбором – здоровье, еда или крылья, он выберет последнее – крылья, хотя, конечно, перед этим сытно покусает! Надо честно признаться, таких людей немного, они все же надеются хотя бы со второй попытки озарить тьму материального бытия своим внутренним светом. Для этого и взяли паузу, чтобы провести подземную работу без слов, которая восстановит в информационном пространстве бытия порушенные гены и звенья кристаллической решетки поэзии. Ведь, как бы ни доказывала информация своё первородство в Слове, у поэзии генетически больше прав на это, поскольку поэзия ДНК-овалась из слова Бог.

*Владимир Монахов,
руководитель Иркутского отделения
Союза литераторов России
2006 – 2022*

Екатерина СЕРБСКАЯ

«Поэзия – мой Бог»

Поэзия – мой Бог.

И я мечтаю обратить в свою веру

Все разумное человечество.

Виктор Сербский

1 мая 2023 года исполнилось бы 90 лет Виктору Соломоновичу Сербскому – Почетному гражданину города Братска, поэту, библиофилу, инженеру, лауреату премии «Интеллигент провинции», премии Дмитрия Лихачева «За подвижничество», создателю уникальной единственной в мире библиотеки Русской поэзии XX века.

Он родился 1 мая 1933 года в Верхнеуральском политизоляторе «... в тюремной камере, но в первомайский день», где отбывали срок его родители (политзаключенные – неотошедшие троцкисты) и до 17 октября 1937 года скитался с ними по лагерям и этапам.

«Проселками с клеймом проклятым

Ползу по зарослям судьбы –

Верхнеуральский изолятор

Назначен родиною быть.»

17 октября 1937 года родителей расстреляли. Стихотворение Виктора Сербского «Дело №229/р-8786»:

« Врачи, снимите мне кардиограмму,

Зажму в горсти свою седую прядь...

Отца – под первым номером. А маму –

Под номером десятым – расстрелять...»,

а маленького Витю отправили в детский дом, сначала во Владивостоке, а затем под Тулун, в Квиток и дальше в Бирюсинский детский дом под Тайшетом.

*Детдом на 100 мест открыт
в тридцать втором году
«Для детей раскулаченных
и высланных...» (стихотворение «Юбилей детдома»).*

В Бирюсе он провел все школьные годы, это были годы войны – голодные и страшные. Там он обзавелся своими первыми друзьями-братьями, с которыми общался потом всю жизнь. В стихотворении «Михаилу Черноусову» Виктор Соломонович пишет:

*Есть у меня детдомовские братья,
Сроднившиеся общею судьбою,
Они – опора и душе отрада,
По ним сверяю
точность хода жизни,
Без них я – ноль....*

После 7 класса учился в школе № 1 города Тайшет (в детдоме была только семилетка), которую закончил в 1950 году с серебряной медалью. Виктор Соломонович стал первым из детей «репрессированных и высланных» в Бирюсинском детдоме, кто окончил полный курс обучения. В школе занимался спортом (футбол, бокс, лыжи, но самое главное – гимнастика, имел взрослый разряд).

Еще в юности Виктор полюбил поэзию, сам писал стихи. В десятом классе преподаватель литературы Василий Феоктистович Степашкин самозабвенно декламировал стихи Владимира Маяковского, который на всю жизнь остался любимым поэтом Виктора Соломоновича, почти все его стихи он знал наизусть.

После окончания школы, вступая во взрослую жизнь, Виктор ставил перед собой много целей и задач, но вряд ли он предполагал тогда, что его ждет судьба библиофила, собравшего уникальную библиотеку, что смыслом, долгом и делом всей жизни станут поиски правды о неизвестных судьбах родителей. В 1950 году Виктор Соломонович поступил в Ир-

кутский горно-металлургический институт: «... куда попал я после школы, сменив романтику-мечту на разум голый». В годы студенчества у него появилась первая библиотечка, которая умещалась в обычной тумбочке. В 1955 году окончил институт и был распределен в освобожденный от лагерей печально-знаменитый город Норильск. Но прежде чем уехать в Норильск 20 июня 1955 года Виктор навсегда связал свою судьбу со своей одноклассницей Марией Кирий, которая стала ему любимой женой на 55 с половиной лет.

Своей любимой Маше Виктор Соломонович посвятил много стихотворений:

*Мы с тобой не молоды, Мария.
От краяхи жизни добрый кус
Отломил.
Лучше, чем другие,
Знаем соли, перца, меда вкус.
Сорок лет пройти вдвоем – не шутка.
И пускай, случается, грублю.
Знай, Машуня,
верь, моя Машутка, –
С каждым днем
сильней тебя люблю.*

С 1955 по 1967 годы Виктор Соломонович жил и работал в Норильске. Прошел путь от мастера до начальника цеха крупнейшего металлургического завода и с первой зарплаты стал покупать поэтические книги. Когда через год к нему приехала жена (Мария заканчивала институт в Иркутске, в медицинском учились на год дольше), то увидела этажерку, полную книг.

В феврале 1956 года Виктор прочитал о смерти известного литературного критика Анатолия Тарасенкова и его замечательной библиотеке поэзии первой половины XX века. Вик-

тор Соломонович решил создать свою коллекцию и таким образом продолжить дело известного библиофила.

«...Я понимал, что в заполярном Норильске, куда книгам было добираться еще сложнее, чем людям, мне не удастся собрать поэтическую библиотеку, которая бы стала достойной продолжательницей тарасенковской. Однако, кто лишил меня попытки продолжать собирание библиотеки «Русские поэты XX века»? Тем более что в то время стихами были завалены полки всех книжных магазинов. Так стала складываться моя поэтическая библиотека, и с тех пор я не пропустил ни одной книги стихов. И покупал, если, естественно, имел возможность», — вспоминал Виктор Соломонович.

*Всю самостоятельную жизнь
Я покупал книги стихов,
Собрав к старости
Крупнейшую во всём мире
Личную библиотеку поэзии
На русском языке...*

И Виктор стал собирать все поэтические книги, выходящие в стране на русском языке, независимо от известности автора, издательства и тиража.

Годы жизни в Норильске стали для Виктора Соломоновича знаковыми. Прежде всего, потому, что в 1956 году через живых людей его разыскали родственники по линии матери. Именно воспоминания теток стали краеугольным камнем колоссальной работы по поиску сведений о своих родителях. Узнать правду представлялось возможным, только ознакомившись с подлинными документами. С тех пор Виктор Соломонович начинает делать запросы в НКВД (КГБ). Всегда подозревая то, что родители были расстреляны, он просил выслать ему свидетельства о смерти. На первой стадии поиска в 1963 году он получил «Свидетельство о смерти» из Магаданского ЗАГСа, где значилось, что Евгения Тиграновна Захарьян умерла 10 января 1942 года от крупозной пневмонии, а из Спецотдела

«Заключение» о регистрации 13.10.1937 смерти заключенного Сербского Соломона Наумовича от – тромбофлебита. И лишь через четверть века, после кропотливых стараний, добившись полной реабилитации родителей, Виктор Соломонович получит повторные «Свидетельства о смерти», где будет указана истинная причина их смерти – расстрел. Позже Виктор Соломонович напишет книгу «Беседы с портретами родителей».

В 1967 году Виктор Соломонович с женой и двумя детьми (Володей и Женей), и тысячами книг переехал в легендарный Братск, где в 1970 году у них родилась еще одна дочь – Катя. Виктор, воспитанный в детском доме, не имевший семьи, всегда ценил свою семью и детей. И старался всю свою любовь отдать своим близким. Он был самым лучшим папой на свете! Виктор Соломонович всегда был очень справедливым и честным, очень мудрым и добрым, у него было замечательное чувство юмора, которое помогало в жизни и сохранилось до самых последних дней. Был большим интеллектуалом, все домашние, звали его «ходячая энциклопедия», потому что он знал всегда ответ на любой вопрос из любой области, будь то литература, история, география, политика... Всегда писал замечательные письма. Своей семье Виктор Соломонович посвятил много стихотворных слов:

*Все так – не лирик я пейзажный
И не трибун, чтоб звать к борьбе.
Пишу стихи,
пишу неважно.
Все о семье да о себе.
Пишу о дочках и о сыне –
Большая у меня гурьба.
Но и в моей семье –
Россия.
Но и в моей семье –
борьба.*

Виктор Соломонович всегда любил стихи, писал их, собирал, но это было его хобби. Всю свою жизнь он был хорошим инженером и крупным производственником. С 1967 г. в Братске работал на Центральном ремонтно-механическом заводе «Братскгэсстроя» заместителем главного инженера, затем директором. С 1974 по 1986 гг. на Братском заводе отопительного оборудования – начальником производственно-диспетчерского отдела, затем – заместителем директора по производству. В 1986 г. вернулся на Центральный ремонтно-механический завод инженером-технологом. «Я успел свой винтик в стройку закрутить», – пишет Виктор Соломонович о братском периоде своей жизни. Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1971), «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» (1983). В одном из своих стихотворений он пишет:

*А я уже лет двадцать пять
С железом, с железом, с железом...
И завтра — с железом опять.*

Дважды избирался депутатом городского Совета народных депутатов (1971, 1991). Не дать померкнуть человеческой памяти – еще одна цель Виктора Соломоновича. Поэтому он был в числе инициаторов создания в 1989 отделения правозащитного общества «Мемориал» в Братске.

Более пятидесяти лет Виктор Соломонович собирал свою библиотеку. По численности она уже давно превосходила библиотеку Тарасенкова. И Виктор Соломонович принял решение подарить свою коллекцию государству. Долгие годы он сталкивался с равнодушием чиновников, которые не придавали значение сохранению книжных поэтических редкостей. Но вот в декабре 1991 года было принято решение № 776 исполкома Братского городского Совета народных депутатов о создании на базе книжного собрания В. Сербского библиотеки «Русской поэзии XX века» и назначением Виктора Соломоновича ее директором. При поддержке мэра Ивана Невмержицкого под библиотеку была выделена соседняя квартира и

в марте 1992 года она открыла свои двери для читателей. Это был первый случай в мировой истории, когда частная коллекция книг ещё при жизни собирателя поступила в общественное пользование и служит не только будущим поколениям, но и современникам.

Всего с 1955 г. В. С. Сербский собрал более 40 тысяч поэтических сборников знаменитых и малоизвестных поэтов, которые издавались в любом уголке нашей страны. Коллекция открывает богатейшие возможности для многоплановых исследований книжных и литературных процессов 20 столетия. В настоящее время – это крупнейшее собрание поэзии на русском языке.

Кроме поэзии в библиотеке широко представлены издания по библиофильству, литературоведению, краеведению, имеется фонд книг с автографами авторов – около семи тысяч, более тысячи миниатюрных книг, старинные издания. Тематический раздел, посвященный политическим репрессиям, является крупнейшим собранием литературы такого рода в Сибири и на Дальнем Востоке. По материалам библиотеки издан сборник стихов бывших узников – «Озерлаг», составитель В. Сербский. Собранная В.С. Сербским «Пушкиниана» получила международное признание – библиотека стала коллективным членом Международного Пушкинского общества. Особое место отведено теме Братска. На основе книжного собрания Виктора Сербского была составлена и в 1995 году увидела свет книга «Ветер Братска», куда вошли 100 стихотворений о городе.

Библиотека стала культурным центром нашего города. Почти одновременно с открытием библиотеки начал действовать поэтический клуб «У Сербского». С 1993 года встречи братских поэтов и книголюбов стали регулярными. Тут же происходят презентации новых книг, отмечаются литературные юбилеи и культурно-исторические события. Авторы представляют свои произведения, обсуждают прочитанное, делятся планами на будущее. Члены клуба – люди разных по-

колений и профессий, но их объединяет любовь к литературе. Многие братские поэты считают Сербского своим наставником, учителем и добрым другом, который помог развиться их таланту.

Виктор Соломонович очень хорошо знал поэзию и книгу. Все книги в своей библиотеке прочитал и не по одному разу, был очень внимательным читателем. Знал строки и строфы не только знаменитых поэтов, но и совсем неизвестных. Был истинным библиофилом и в 1994 году стал членом Всероссийской Ассоциации Библиофилов. Как библиофил проводил в Братске активную просветительскую работу. Его многочисленные выступления в школах, техникумах, училищах города, с рассказами о книгах и литературе, несомненно, оказывали огромное влияние на подрастающее поколение.

Библиотека русской поэзии Виктора Сербского получила признание Российского правительства и международных организаций: Сербский В.С. являлся обладателем гранта президента России (2002) и обладателем гранта Сороса (2002), предназначенными для развития библиотеки. В 2013 году библиотека внесена в Общероссийский свод книжных памятников-коллекций.

Всю свою жизнь Виктор Соломонович читал стихи, собирал их, но еще со школы писал стихи сам. И, как писал Анатолий Кобенков в одной из своих статей о Сербском: «... Была у него давняя мечта – когда-нибудь поставить на одну из полочек библиотеки пусть маленькую, но свою книжечку стихотворений. Ибо свидетельством не напрасно прожитой жизни, прожитой духовно, может быть только книга». И в 1989 году вышла его первая книга стихов «Зачет». Которая сразу стала библиографической редкостью. Это была первая миниатюрная книга в стране, выпущенная за счет средств автора. В предисловии, написанном Булатом Окуджавой, говорится, что в стихах Сербского, о чем бы он ни писал, «отсвет того печального времени, в котором ему и нам довелось жить-ствовать».

В 1996 году Виктора Соломоновича приняли в Союз российских писателей. На полках его библиотеки рядом с книгами известных поэтов стоят книги В. Сербского. Кроме поэтических сборников Виктор Соломонович издал книги прозы «Из записок библиофила» (2000, 2002), «Переход через Ангару» (2004). Всего на счету Виктора Соломоновича более десяти книг.

Книга «Беседы с портретами родителей» – его главная книга. Это целый поэтический цикл бесед с портретами родителей, с живыми — не довелось. Стихи, как говорит сам автор, странные — по форме вроде бы белые, по сути, по накопившейся в них печали и тоске — черные. Книга включает в себя, кроме текстов, описание всех ужасов жизни людей в лагере. Людей, у которых:

Система отняла

Родину, родителей,

Родственников, родословную

Долг и семью, детство...

(В. Сербский «Похороны»)

Книга переиздавалась четыре раза. «Это не просто воспоминания, – писал о стихах Сербского Булат Окуджава, – это опыт нашей трагедии, выраженный посредством поэтического слова». Каждая из бесед – это стон, это пережитая боль, это трагедия. «В этих «Беседах...» описана вся моя жизнь, – говорит автор, – лучше, чем в этой книге, я о себе не расскажу». По книге «Беседы с портретами родителей» Братским молодежным театром-студией «Откровение» под руководством Олега Чернигова был поставлен спектакль «Свеча». Последняя книга В. Сербского «Заросли судьбы» вышла в 2008 году, к 75-летию автора. В книгу вошло все лучшее из того, что было написано крупнейшим сибирским библиофилом.

Деятельность Сербского В.С. многократно отмечалась благодарственными письмами мэра и управления культуры, отделением общества «Мемориал» Братска. Сербский В.С.

награжден почетной грамотой мэра Братска (2003), а также являлся одним из первых лауреатов премии «Интеллигент провинции», присуждаемой сообществом культурных организаций Иркутска (2001). В дипломе лауреата написано: «Дорогой Виктор Соломонович! Называя Вас истинным российским интеллигентом, мы имеем в виду не только Ваш подвижнический труд на территории северной глубинки нашей области, но и всю Вашу жизнь, которую Вы без остатка посвятили русскому слову, отечественной книге и русской поэзии. Мы без ложного пафоса настаиваем на том, что жизнь Ваша, как и многие Ваши строки, освещена истинным духом красоты и святости. Низкий поклон Вам за это!»

В 2005 г. Виктору Сербскому присуждена премия «За подвижничество» международного благотворительного фонда им. Д.С. Лихачева, что стало заслуженной наградой за его неутомимую деятельность по созданию библиотеки русской поэзии и по сохранению памяти о жертвах политических репрессий. За огромный вклад в культуру, патриотическую деятельность В.С. Сербскому в 2008 году было присвоено звание «Почетный гражданин города Братска».

Умер 09.01.2011 года, похоронен в Братске на Падунском кладбище. Евгений Евтушенко написал: «Виктор Соломонович дал нам всем пример понимания драгоценного отношения к необходимости поэзии в нашей жизни. Надеюсь, что его коллекция будет сохранена Братском и открыта для новых поколений».

Сербский Виктор Соломонович своей трудовой деятельностью, поэтическим творчеством, историко-просветительским трудом, издательской работой внес бесценный вклад в развитие города Братска, в развитие его культуры и образования.

В мае 2013 года решением Думы Братска библиотеке «Русская поэзия XX века» присвоено имя В.С. Сербского, а на доме, где он жил и находилась библиотека, установлена мемориальная доска.

Дело жизни Виктора Сербского продолжается. В библиотеку поступают сборники поэзии. Составляется электронный каталог. Уже описано более 27 тысяч книг. 15 февраля 2016 года библиотека, переехав в просторное отремонтированное помещение, начала новую жизнь. Стало возможным проводить выставки из редкого фонда, различные конкурсы, презентации и литературные вечера. Гранты «Территории РУСАЛа» и Фонда Михаила Прохорова позволили приобрести новое оборудование. В библиотеку потянулась талантливая творческая молодежь.

Судьба Виктора Соломоновича необычная и типичная одновременно для сотен тысяч людей нашей страны; его судьба — часть её истории, причем страницы эти многие весьма безрадостны. Но, не взирая на всё это, жизнь Виктора Соломоновича была яркой и очень интересной, текла стремительным потоком, полная задумок, стремлений и идей.

Мне хочется закончить стихотворением Виктора Соломоновича:

*Судьба дает бесплатные уроки.
За них долги бессрочные платить.
Нам всем свои Падунские пороги
Однажды в жизни надо покорить.*

*Иначе — отлетело, отшумело...
И, как в пустыне, пусто за тобой.
А наши дети сядут неумело
За парту, но — перед своей судьбой.*

*Чтобы свою планету в звездном небе
Найти, по жизни пронести свой крест
И, думая о слове и о хлебе,
Своей тропой взойти на Эверест.*

Виктор СЕРБСКИЙ

Переход через Ангару

Через «Братскгэсстрой» прошло более миллиона человек, но работавших с И.И. Наймушиным остается все меньше и меньше. И я обязан рассказать об одной памятной встрече с этим достойным человеком.

Тогда я работал директором Центрального ремонтно-механического завода «Братскгэсстрой». Братская ГЭС к тому времени была уже построена, и ЦРМЗ выполнял заказы по изготовлению металлоконструкций для БрАЗа, ЛИК, Усть-Илимской ГЭС, других объектов «Братскгэсстрой». Мне принесли заказ от УСМСП на две анкерные опоры перехода через реку Ангару в Усть-Илимске. Я посмотрел, чертыхнулся и отказался принять, написав соответствующую резолюцию. Все металлоконструкции мы делали на открытой площадке, что для данной конструкции было недопустимо. На заводе шутили, что мы можем сделать все вплоть до самолета, но только летать он вряд ли будет.

Через несколько дней я получил письмо, подготовленное бывшим директором ЦРМЗ А. Д. Дерфелем, после инфаркта перешедшим работать в отдел заводов, и подписанное зам. главного инженера Г. М. Трахтенбергом:

*«13.06.69. Директору ЦРМЗ
тов. Сербскому В. С.*

Ваше отношение к направленному заказу УСМСП на две анкерные опоры перехода через реку Ангару в створе Усть-Илимской ГЭС вызывает удивление. Кому помогут Ваши резолюции и рекомендации?

«Братскгэсстрой» строил и создавал завод и цех по изготовлению металлоконструкций в его составе для того, чтобы обеспечить нужды строительства и его подразделений в нети-

повых, единичных изделиях, которые на стороне нельзя разместить.

Указанные две опоры являются не только единичными, но и уникальными, и попытки заказать их на стороне не дали результатов. Все специализированные заводы, куда Вы адресуете этот заказ, не изготавливают единичные опоры, тем более такие уникальные, и никто у нас этот заказ не принял и не примет. Изготовление этих опор – удел ЦРМЗ руководимого Вами, и Вам следует самому настроиться и мобилизовать коллектив на выполнение этой ответственной и почетной работы, доверяемой коллективу.

Многолетний опыт работы ЦРМЗ показал, что коллектив успешно справлялся со всеми порученными ему работами. Обязываю Вас принять заказ от УСМСП на две анкерные опоры – заявить металл на первый квартал будущего года, приступить к разработке рабочих чертежей и определить технологию изготовления их с таким расчетом, чтобы за весну и лето 1970 года изготовить эти две опоры.

Практику непринятия заказов и отсылки заказчиков в другие адреса прекратите как вредную. Впредь, если у Вас есть замечания или вопросы по заказам, направленным отделом заводов, решите их в отделе заводов и, при необходимости, вместе с отделом заводов ставьте вопрос передо мной или главным инженером строительства.

*Зам. главного инженера «Братскгэсстроя»
Г. Трахтенберг»*

Разгоряченный, я ответил хоть и слабыми, но стихами и передал их Дерфелю:

*«На Ваш № 37-333 от 13.06.69
Я извиняюсь, каюсь, слушаюсь.
Видать, в моих познаниях был пробел.
Я больше ничему не удивляюсь,
Теперь я понял, в чем же мой удел.
Пусть вопрос будет совсем дурацкий,
Я впредь не подниму ненужный шум.*

*Не дам я никаких рекомендаций
И резолюций впредь не напишу.
И кто бы, где, когда б ни обмарался
И прочесался или проглядел,
Того не будет, чтоб я возмущался,
К чему тут «нрав», – ведь это мой удел.
И если впредь заказчик из нахальных
Попросит что-то сделать без инструкций,
Я буду знать, что все, что уникально,
Сработает может цех металлконструкций.
Когда на стороне отказ упорный
Принять заказ, почет себе устрой.
Я буду знать – для этого, бесспорно,
«ЦРМЗ построил «Братскгэсстрой».
И кто б ни напорол, УСБРАЗ иль ВАМИ,
Я буду все немедля сам решать:
«Удел ЦРМЗ, руководимый Вами».
И боже упаси – «в другие адреса».
И никого обидеть не рискуя,
Чтоб к Вам в немилость снова не попасть,
Подумавши, вопрос с отделом согласую,
А уж потом поставлю «на попа».
Я обуздаю всю свою породу,
Ко мне под хвост не попадет возжжа,
И миленький родной отдел заводов,
Как мать родную, буду уважать.
Я раньше возмущался и гудел,
И был порою даже очень дерзкий.
Не буду больше.
Зная свой удел,
Вам вечною слугою будет
Сербский».*

Через несколько дней раздался звонок Наймушина: «Что там у тебя с опорами перехода?» Я объяснил, что изготовить их не могу, хотя уже начал разработку детализовочных черте-

жей. Иван Иванович сказал: «Собирайся, полетишь со мной в Челябинск, когда – уточни у Малкова».

Павел Дмитриевич Малков работал тогда начальником монтажного отдела. Он уточнил: с собой партбилет и побольше денег.

И вот мы втроем летим в Челябинск через Иркутск, где Наймушину зачем-то нужно было в обком партии. В Иркутске нас встречает на машине юрист Зеленский и везет Наймушина в обком. Мы с Малковым остаемся в аэропорту. Изучаем книжный киоск. Я нахожу какую-то отсутствующую у меня книжку стихов. Появляется Иван Иванович, и мы идем обедать в ресторан. Зеленский хорошо знает вкусы Наймушина, и на столе появляются бутылка коньяка и две бутылки лимонада. Выпили по первой. Наймушин налил в стакан на два пальца коньяка и долил до полного стакана лимонад. После закуски выпили по второй.

Наймушин опять совершил ту же операцию. И тут я вспомнил, как отмечался день рождения Ивана Ивановича в ресторане «Падун». Народу было много. Я сидел довольно далеко от Наймушина. Тосты следовали один за другим, все пили рюмками, а виновник торжества – стаканами. Меня это очень удивило. Невольно вспоминались рассказы о том, что Наймушин глушит спиртное стаканами. Теперь я наблюдал, сидя с ним рядом за одним столом, как он пьет стаканами коньяк. Перед вторым блюдом он опять плеснул в стакан коньяка и долил лимонада до полного. После обеда мы вылетели, но так как посадка была еще и в Омске, в Челябинск прилетели в темноте. Рядом с трапом уже ожидала обкомовская «Волга» с инструктором. После размещения в гостинице – Наймушин в одноместном номере, а мы с Малковым в двухместном – пошли ужинать в ресторан. Заказ был тот же самый: коньяк и лимонад. Но официант ответил, что коньяка нет. Пришлось пить шампанское. Несколько бутылок прихватили с собой в номер, куда зашел и Иван Иванович.

Я слышал о том, что Наймушин любит стихи и даже сам их пишет, но что в ту ночь состоится мой первый в жизни

творческий вечер, не предполагал. Я читал всё, что мог припомнить, свое и чужое. Прочел поэмы «Сын» Антокольского, «Сын артиллериста» Симонова, «Анну Снегину» Есенина, свою «Бирюсинский детдом», стихотворения «Бурундук» Жигулина, «Переключка» Бушко, «Зима 38 года» Р. Рождественского, «Наследники Сталина» Евтушенко, «Ребята из детдома» и «Кривой сухарь» Фонякова и переписанную его рукой «Курсистку» Смелякова, и даже «Бедного Филю» Рубцова. Читал Сергея Орлова, Александра Межирова, «Сухое вино» Александра Яшина. Читал Вадима Шефнера, Степана Щипачева, Василия Федорова, стихи Маяковского, которых я тогда знал великое множество, главы из его поэмы «Хорошо», а Наймушин все просил еще и еще. Особенно тепло он воспринял мои детдомовские и антисталинские стихи, но я прочел и свои, написанные на смерть Сталина. Наймушин, как настоящий коммунист, одобрил: «Тогда все так считали». Перед тем, как уйти, он напомнил: «Ты дай мне этот ответ подписать». Я пообещал, но в суете дней так и не собрался, а жаль – драгоценный автограф был бы. В ту ночь сам Наймушин стихов так и не прочел, слушатель он был уникальный, а какой поэт – я так и не узнал.

Утром, не выспавшись, пошли в обком. Вчерашний инструктор пригласил директора завода металлоконструкций. Чуть позже появился секретарь обкома Родионов, и они с Наймушиным прошли в его кабинет. У Родионова намечалось большое совещание, но из уважения к начальнику «Братскгэс-строя» он попросил всех подождать. Вскоре подъехал директор завода. Наймушин встал поздороваться и тут же нацепил ему на грудь значок строителя Братской ГЭС, поздравив его при этом. На «Братскгэсстрой» поистине работала вся страна. Наймушин с Малковым улетели в Москву, а я поехал на завод оформлять заказ и пробыл там два дня, одновременно знакомясь с производством.

Челябинцы быстро и качественно выполнили заказ.

2004 год

Владимир МОНАХОВ

Одинокий дом одинокого мужчины

*Не надо меня любить – достаточно не огорчать.
Ты ушла – не стало лишних слов!*

Из переписки.

После смерти жены и отъезда детей Самохвалов остался один в большом доме. Номинально он числился главой семьи, но здравый смысл подсказывал, что он никогда не был хозяином в этом доме, хотя в молодые годы вместе с тестем старательно выстроил его и прожил в нем с семьей тридцать лет. Он всегда мечтал вырваться из семьи в холостяцкую вольницу, норовил пожить отдельно, старался избавиться, освободиться, уклониться от обязанностей, к которым его принуждал дом. Только всё это было не в реальной повседневности, а в регулярно разыгрывающемся воображении Самохвалова.

И потому все вольные мечты ограничивались редкими недельными командировками и недолгими отпусками, большую часть которых он проводил, ухаживая за домом, выполняя тот минимум, который дом требовал от мужских рук.

Раньше здесь правила и царила жена, а он даже мусорного ведра не выносил. Их последний спор после десятилетия совместной жизни об этом накопившемся мусоре закончился неожиданным примирением. Тогда Самохвалов многозначительно, с нажимной силой сказал:

– Мужчина ничего из дому выносить не должен – только приносить. Понимаешь ты это или нет?! Все только в дом приносить! А не выносить! Заруби себе это на носу!

– Ты кому это говоришь? – была готова к ответному прыжку жена.

– Тебе! И передай всем своим подругам эту правильную мудрость! Пусть больше не терзают своих мужиков этим мусорным ведром.

То ли уверенный голос Самохвалова, то ли угрожающие интонации, с которыми были произнесены эти слова, повлияли на супругу, но с того самого дня она смягчилась и отступила. Отступила навсегда, никогда больше не возвращаясь к проблеме мусорного ведра. Даже когда она уже болела, то ведро с мусором безропотно выносила сама. Тем более что Самохвалов отличался от известных ей по рассказам подруг других мужей тем, что нес всё в дом, всё для семьи, в том числе и для нее персонально. Золотых гор, конечно, не было, но все в пределах разумных бытовых фантазий того времени выполнялось.

После смерти жены дети попытались все переставить и переиначить в доме на свой лад, по своему усмотрению и представлению, но как-то эти перестановки не заладились, пошли наперекосяк, начались споры, ссоры, претензии, и легкая на подъем молодежь предпочла уехать из дома, из города.

Когда Самохвалов остался один в доме, он все вернул назад, как было при жене. Даже мусорное ведро старенькое нашел, а новое, которое успели завести дети, отправил в кладовку. И хотя с первых минут дом принял этот шаг с благодарностью, но в целом по-прежнему относился к Самохвалову с прохладцей и подозрением.

Да и было за что: Самохвалов мог по выходным целый день ходить нагишом из комнаты в комнату, перемещаясь в основном от диванов к холодильнику, потом завалиться спать и проспать двенадцать часов кряду, пока уже не пора было отправляться на работу. Он считал, что такой образ жизни демонстрировал его душевную сытость.

Иногда он надолго исчезал из жилища по своим личным делам, и тогда дом, наскучавшись в одиночестве, встречал его возвращение особенно недружелюбно. У обоих с возрастом образовался тяжелый характер, и они пытались друг другу доказать, кто из них главный. Но это ни у кого из них не получалось. Четыре года они приглядывались друг к другу, пытались договориться, но Самохвалов не высказывал особой любви,

и дом отвечал тем же. Самохвалов особо стал чувствовать это по тому, что даже редкие женщины, что заходили на чай, старались быстро уйти, покинуть дом, ощущая всю неприязнь чужого жилища. Да и сам Самохвалов не удерживал их больше чем на пару часов. Некоторые все же порывались выполнить незатейливую домашнюю работу, но Самохвалов отнекивался.

– Не суетись, я всё уже сделал, – говорил он уверенно женщине, которая таким образом старалась зацепиться и остаться подольше в доме.

Женщина с обиженной улыбкой оглядывалась, замечала, конечно, мужскую неряшливость по углам комнат, но делала вид, что все в порядке, тем самым, как ей наивно казалось, подогревая и теша мужское самолюбие. Самохвалов понимал, что дамы игриво подвигают, но спорить с ними не пытался. Он отличался нравом молчаливым, и если затевал разговор, то только по существу вопросов, причем сам определял, когда нужно было говорить и о чем. Пустословие презирал.

То, что дом был изрядно запущен без женской руки, особенно стало заметно, когда неожиданно приехала из другого города дочь, сбежавшая от постылой поденщины на работе. Свой приезд обставила красивыми словами: «Люблю! Скучаю!» Распаковав дорожные сумки лишь наполовину, первым делом взялась наводить в семейном гнезде порядок.

И дом тут же стал набирать свой свет. Заблестел всеми зеркалами, стеклами и металлическими предметами, открылся хозяйке всем своим внутренним содержанием, которое при Самохвалове притушилось и угасло. Дом принял заботу дочери всем домашним сердцем и преобразился до прежнего состояния, которое было при жене. Расчувствовавшийся Самохвалов даже взялся за мусорное ведро, но дочь решительно остановила:

– Я сама!

– Давай помогу, я же этим всегда теперь сам занимаюсь!

– Мужчина не должен ничего из дому выносить – только приносить!

– А ты откуда это знаешь? – ошеломлен от неожиданности, узнав свои слова, Самохвалов.

– От мамы.

– А ты знаешь, кто маму научил?

– Теперь догадываюсь.

– Знала бы ты, какие в начале войны шли в нашей семье из-за этого пресловутого ведра с мусором, которое твоя мать норовила вытаскивать каждый день.

– Представляю!

– Не, ты даже не догадываешься!

– Ну, почему, папа, насколько я слышала и знаю, все споры в современных городских семьях начинаются из-за выноса мусорного ведра. Это сейчас даже в телесериалах активно обыгрывают.

– Ты ж знаешь, я сериалы не смотрю, – Самохвалов после этих ее разоблачительных слов как-то сник.

– Кстати, а я помню, как вы с мамой ссорились.

– Я – ссорился!? – удивленно вскинул голову Самохвалов.

– Не, мама ссорилась, а ты молчал. Всегда молчал.

– Да, я всегда молчал, – с гордостью произнес Самохвалов.

– И в этом была твоя ошибка. Когда женщина ссорится, с ней надо разговаривать. Лучше бы ты отвечал, – разговор приобретал опасный характер, и Самохвалов постарался перейти на шутливый тон.

– Ну, милая, насчет умения женщины построить из ничего скандал и салатик мы, мужики, давно в курсе. Уже вошло в поговорки.

– Дурацкие ваши мужские шовинистские шуточки! – рассердилась дочь.

– Ну, ну, – вести диалог дальше Самохвалову расхотелось, и он пошел по комнатам с ревизией – посмотреть, каким стал теперь его дом.

А дом от дочкиных забот преобразился, оживился, пове-

селел, подмигивал отмытыми окнами, чего при Самохвалове никогда не было. И все дни, пока дочка жила с ним, он чувствовал эту неутихающую радость дома, который стал и Самохвалова принимать по-особому. Все, что до этого не работало и барахлило, стало неожиданно работать, все, что нужно было отремонтировать и не ремонтировалось уже несколько лет, было отремонтировано в одно мгновение, с какой-то несвойственной Самохвалову игривостью... Как-то быстро нашлись нужные запчасти и были поставлены на свои технологически законные места. Дом подчинялся по одному только хотению и велению Самохвалова, хотя он никогда не отличался мастеровитостью. И в такой дом Самохвалова снова тянуло после работы, такой дом становился ему приятным, близким и родным. У него даже проснулось желание сделать ремонт. За разговором о ремонте дочь сообщила ему свое решение:

– Это, папа, уже без меня. Я купила билет на поезд. Послезавтра уезжаю!

– Уезжаешь? – сначала Самохвалов даже расстроился. – Странно ты как-то себя ведешь: то неожиданно приехала, то неожиданно уезжаешь.

– Ну, папа, дела зовут! Я же тебе только тут мешаю.

– Ты мне? – Самохвалов даже удивился.

– Мешаю, мешаю! Я же вижу, как вокруг тебя активная общественная жизнь застыла с моим приездом!

– Да какая жизнь у одинокого вдовца?

– Ну, ну, не скромничай! Ты когда все же жениться надумаешь, поставь в известность нас с братом. А то приедем вот так же, а тут чужая тётя.

– Твоего брата как раз это меньше всего интересует, – уклонился Самохвалов от темы.

– Очень даже интересует!

– А чего ж ничего не пишет, не звонит?

– Ну, это ты у него спроси!

Разговор как-то оборвался и до отъезда дочери больше не возобновился.

Самохвалову хотелось поговорить о своем будущем, но он знал, что всегда в семье всем командовали недомолвки и управляли недоговоренности, которые, видимо, были привиты им же и подхвачены другими членами семьи. И теперь он сам от этого страдал.

Дочь уезжала поздно ночью. На перроне они решительно обнялись, поцеловались, и дочь быстренько села в вагон. Не дожидаясь отправления поезда, Самохвалов ушел. Жил он недалеко от вокзала и домой вернулся пешком. Повернул ключ в двери, переступил порог и сразу почувствовал, что в доме кто-то есть. Обнаружил это каким-то внутренним обостренным чувством, которого раньше за собой не замечал. Самохвалов снял обувь, обошел быстро все комнаты, открыл все имеющиеся двери, заглянул во все углы, даже вышел на скромный балкон. Но никого не было. А Самохвалов все же продолжал ощущать, что в доме кто-то затаился и ждет. Чего ждет, Самохвалов не знал. Но что кто-то, пока он провожал дочь, пробрался и поселился в его жилище, Самохвалов ощущал.

Быстро раздевшись, он юркнул под теплое одеяло, обдумывая новое для себя положение в доме, и уснул. Ему снились всякие разности, содержание которых невозможно разгадать логичным мужским умом. Последнее, что ему запомнилось из утреннего сновидения, так это дом, в котором была еще жива жена, и этот дом, мало похожий на их прежний, у него на глазах провалился глубоко под землю. Он видел отчетливо, как вокруг места трагедии собрались спасатели, но его не пускали к провалу. А он спокойно смотрел на все это и говорил, что это его дом, он его строил, это его имущество, и там осталась жена. К нему подвели врачей, но, увидев, что Самохвалов ведет себя адекватно, они не знали, что с ним делать. Потом во сне появились дети, и теперь вместе с ними Самохвалов стал искать жену в гостинице, куда переселили всех пострадавших. Они знали, что где-то в комнате на пятом этаже поселили их маму. И дети вместе с отцом шли по ступенькам и лестничным маршам, но все время куда-то попадали не туда,

и так всю ночь проискали, но не встретились с мамой. Дети спрашивали: «А ты точно знаешь, что она здесь?» Самохвалов уверял, что точно знает, что видел ее в окне, она махала ему рукой. Но попасть к ней в номер они так и не смогли.

Утром Самохвалов долго обдумывал свой сон, искал значения. Он уже знал, что сон хороший, что жене там хорошо, и она не зовет их к себе, даже избегает с ним встречи. Это был старый повторяющийся сон, новое в нем было только то, что дом провалился. Но Самохвалов это отнес к тому, что смотрел недавно по каналу «Культура» кино про землетрясения. И поэтому сон его больше не беспокоил.

А беспокоило его чужое присутствие в доме – оно оставалось, оно подавало сигналы, оно волновало Самохвалова, заставляло менять линию поведения. Он садился обедать, и оно уже сидело за столом. Он брался стирать, и оно было под рукой. Вместе они активно пылесосили, читали, разговаривали по телефону. Кстати, когда он разговаривал по телефону, то оно стояло рядом и настойчиво требовало прекратить разговор. Нет, оно ничего не говорило, оно вызывающе молчало! Ему не нравилось, что Самохвалов был занят с другими, а не с ним. И когда он поспешно клал трубку, оно успокаивалось и в доме воцарялось благополучие тишины звенящей. Нет, оно не спорило с Самохваловым, не устраивало сцен ревности, ничего не запрещало. Оно просто укоризненно молчало. И от этого Самохвалову становилось как-то особенно не по себе.

Оно любило смотреть телевизор: в это время оно его не беспокоило, а вело себя сдержанно, только изредка одобряло выбор телепередач. В доме было тихо, а если звонил телефон, то Самохвалов к нему не подходил, дескать, дома нет никого, а смотрел в голубой экран телевизора. В нем можно было увидеть все, а потом, перед сном, обсудить с ним все, что видели вместе за вечер. Оно с удовольствием слушало комментарии Самохвалова обо всем увиденном по телевизору и говорило: какой ты все-таки умный, ну надо же, и никто этого не ценит, кроме меня. Под аккомпанемент таких приятных слов,

которые в его голове звучали знакомой музыкой, Самохвалов засыпал. Засыпал с одной и той же мыслью, как хорошо было бы больше не проснуться, и эта мысль растекалась приятной истомой по всему телу, которое хотело только продолжительного отдыха от всего, что находилось за пределами их общего дома.

Поступок

— Так зачем же она приехала? — перебил я Татьяну Алексеевну.

— Поди разберись. Может, думала, живём богаче — да раздобреть, — и тут женщина вдруг затихла и круто зарделась. Каждая морщинка на лице заполнилась краской стыда от грубых, унижающих её достоинство слов. Она взмахнула рукой, словно отгоняя от себя проникшую в речь слабость, и стала торопливо оправдываться: — Да и то, что судить. Время горюшкино, послевоенное. На руках ребятишки. Вот и думалось ей, что, может, живём, куском хлеба не считаясь, того и гляди, детям отпадёт. Отец всё-таки, своя кровинка. Понять тоже надо заботу женскую, а не торопиться с осуждением, как с ружьём наперевес.

— Напрасно вы её защищаете, — сказал я категорично.

— Напрасно или не напрасно, а только зла в душе не держу, — так она рассудила давнее происшествие с высоты сегодняшнего дня. Мы сидим в крохотной комнатёнке коммунальной квартиры. Стены подпирает резной, старинной работы шкаф; железная, с шишками, по нашим временам очень редкая кровать занимает половину площади; в довершение всего дубовый массивный стол, покрытый скатертью да ещё сверху для сохранности полиэтиленовой клеёнкой, занял большую часть угла. И много-много фотографий, тронутых желтизной времени. Теперь ясно вижу то, что поначалу укрывалось от меня: в них неуловимый и зловещий смысл женского одиночества. Везде Татьяна Алексеевна в окружении подруг. Вот

спортивная команда, женские курсы, делегатки конференции, институт, госпиталь. То же самое и в альбоме. И нигде нет её вдвоём с мужчиной. А история жизни этой хрупкой старушки с коротко остриженными седыми волосами, с чудом сохранившимся васильковым цветом глаз внушала уважение. Слушал её не перебивая. Татьяне Алексеевне не нужно задавать вопросов. Она рада-радёшенька возможности поговорить с человеком и охотно рассказывает о своей жизни, поднимая из кладовой памяти воспоминание за воспоминанием. Чувствовалось, что её не баловали особым вниманием. А послушать было что. Дни минувшие – это работа в комсомоле, жуткие годы коллективизации, учительство, служба в военном госпитале, строительство линии Тайшет – Лена, города Братска. И только я нарушил стройность рассказа вопросом: а где дети, муж? Интимность вопроса не смутила Татьяну Алексеевну. Как говорила на одном дыхании, так и продолжила:

– А детишек мне иметь не довелось. Ведь и замужем незаконному не была. Сначала училась, потом на преподавательскую работу послали в село. Я хоть сама девка сельская, а уже гордыня появилась. Учёной себя считала – не на каждого мужика и глядела. Хотя выбирать мне особо не из кого было. Телом я справная вышла, а вот лицом не удалась. Не хватило красоты на всю. Это сейчас старых не различить: морщины всех уравнили... Ждала чего-то необычного.

Только и скучать не приходилось. Работала много. Ответственные дела занимали время. За тридцать перевалило, а всё незамужняя. Не скажу, чтобы мужчины меня совсем сторожились. Находились, кто вниманием обласкивал. Но вот под венец не вели, как в старину говаривали. Дело прошлое, ворошить нечего. А тут война к нашим границам подкатила, закружило народ – не до личных дел стало. Всю войну в госпитале санитаркой пробыла. Потом дорогу железную строить направили. Определили меня заведующей в садик, поскольку образование педагогическое. Тогда я и познакомилась с Семёном Аристарховичем. Он из заключения вышел. По навету

пострадал. После войны честное его имя восстановили. Не скажу, чтобы он какими-то чувствами особыми ко мне воспылал. Откуда им взяться, коль человек так жизнью измотан, что живому ростку из души и за сто лет не пробиться, сколько его елеем ласки ни поливай. Но у меня от встречи с ним словно всё в груди воспламенело.

Не в мои годы об этом говорить, а вот вспыхнуло что-то в сердце и греет душу необъяснимым теплом. Видать, в том тепле, что из меня лучилось, и Семён Аристархович начал от душевной зябкости отогреваться. Я уже возрасту почтенного была, к сорока годочки торопились. И ему за столько. Встречались мы множество раз, а однажды он ко мне зашёл и сказал, как бы между прочим, что хотел бы остаться со мной. Я так словам этим обрадовалась, что почти без чувств на грудь ему упала и одним духом обо всех своих переживаниях ему доложила. Раскрылась, словно бы камень с сердца сняли.

– Вот и замечательно, – сдержанно говорит он мне, а сам по волосам гладит. Голубит. И так хорошо мне в эти минуты стало, что до сих пор помню ту ласку его скупую. Так и зажили вместе. Я про него всё знала, ничего не утаил мой суженый о себе. И что жена у него где-то на Украине, и что двое детей с ней. Разыскивал, но все труды оказались напрасными. Да и то правда, такая война прошла. Утешала родимого, как могла. И радовалась счастью своему случайному, долгожданному. Если и бывает седьмое небо, то только тогда я о нём и узнала.

Месяц прошёл в каком-то сладком угаре, второй, полгода. А когда прошёл первый хмель счастья, стала замечать, что какой-то кручиной-заботой он обеспокоен. Подсяду, обниму за плечи, начну расспрашивать. А он отмахнётся: так, мол, бывшее вспомнил, и сразу же на сегодняшний день разговор переведёт. А что бывшее-то? Дом ли? Жену? Детишек? Не уточнял. А может, тех, кто злое слово на него напустил. Но однажды после долгих дум таких открылся.

– Хочется мне, Танюрочка, детишек своих разыскать. Не верится, что нет их на белом свете. – Так давай поищем вме-

сте. Что же ты сердце себе рвёшь кручиной, думами бесплодными? – Как искать? На месте нашего села – пепелище. Люди – кто погиб, кто помер, а кто и по свету растерялся. У кого спросишь? – Так ведь язык до Киева доведёт, старики бают. А в молчанку играть – сердце надрывать, – сжала я ему руку. Он даже от боли поморщился. Но из печали не вывела его. Поднялся Семён Аристархович. Полез в свой чемоданчик. Достает конверты, верёвочкой перевязанные.

– Вот сколько их. И в каждом: неизвестно, не проживают, не значатся. Бросил в сердцах. Верёвочка лопнула, и письма те казённые по комнате разлетелись. Метнулась я, как белка, их с полу собирать. А он быстрым шагом прочь пошёл. А когда вернулся, глянула я ему в глаза и напугалась – в них каждая прожилочка видна, краснотой налиты белки. «Плакал!» – пронзила меня мысль. Никогда он при мне слабости не допускал. И тут старался скрыть, да глаза выдали.

С того дня стала я тайно от него письма во все стороны писать, семью разыскивать. Не может быть, думала, что след их совсем потерялся. Уж лучше знать наверняка, что погибли, чем душу неизвестностью кроить. Ответы на работу приходили. Во всех одно и то же, как и в тех, что он мне показывал. Радоваться бы этому, а я всё больше кручинюсь, что не могу помочь. Подруги на работе знали, чем голова моя обеспокоена. Нет-нет, да и заведут как бы невзначай разговор, что сама себе верёвку для удавки намыливаю. Прямо так в откровенной заботливости обо мне и говорили. Не стеснялись. Что их судить, война многим души очерстила. Ведь, не дай бог, найдутся, уедет к ним, предупреждали меня, а ты опять одна-одинёшенька останешься. В молодые годы никто не позарился, а когда песком дорожки стало посыпать, и подавно никому не приглянешься. Сказать, что эти предупреждения не печалили меня, не могу. Сильно терзалась я в думах о своём будущем. Мучилась мыслью: вдруг найдутся, что тогда? Но успокаивала себя надеждой, что, может, жены и нет в живых, а детишек найти не грех. Это наш союз ещё больше скрепит,

потому как к тому времени стало ясно, что своих детей я уже иметь не смогу. Перебрадили соки.

И вот через полтора года безуспешных поисков получаю письмо. Раскрыла, а в нём сообщалось: семья Семёна Аристарховича жива, здорова, и адрес. Я с пылу с жару письмо им отписала. Немного времени прошло – ответ получаю. Про свою жизнь сообщили и высказали желание к нам приехать, поскольку слыхали, что в Сибири жизнь полегче. Это насчёт харчей, конечно. Но вот с деньгами на дорогу туго у них. В тот день и отдала Семёну Аристарховичу весточку от родных. Прочитал он её, красными пятнами покрылся. И уже без утайки разрыдался. Тягостное это зрелище, когда мужик слёзы льёт. Отвернулась, потому как саму слёзы душили, хотела из комнаты уйти, да он обхватил сзади, прижался. – Что же ты наделала, Танюрочка? – говорит. И не поймёшь – радуется или осуждает. Собрался было ехать к ним. Отговорила. Скажу честно, боялась, что уедет, и больше никогда его не увижу. Тогда отписал он письмо. Всё без утайки. Денег на дорогу послал. Вскоре и они пожаловали. Слез было море разливанное. Со мной супруга его законная, правда, скупно поздоровалась. Оно и понятно, я ведь не родня, а соперница, хотя и помогла встретиться. В дом привели с вокзала, стол накрыли. Детишек потчуют. По всему видать, несладко им жилось. Худые-прехудые.

По дому кручусь, а к разговору прислушиваюсь. Да только мало он мне понятен. По-украински говорят. Но постоянно чувствую на себе пристальный взгляд жены Семёна Аристарховича, догадываюсь, что о главном не говорят, всё вокруг да около, деликатничают. А главное – это о нас. Как дальше быть? Негоже русскому мужику при двух бабах состоять. Да и от детей своих он не отрекался. Право дальнейшую судьбу решать – за Семёном Аристарховичем. Вот и ждём, когда он разговор в волнующем нас русле зачнёт. А он всё оттягивает и оттягивает. Лишь детишкам наша тайна скрыта. Радуются отцу, хоть и не знают его как следует. Малы были, когда его

забрали по навету. Но в первый же день конфуз вышел, который и решил наши судьбы. Мальчонка возьми да и скажи по простоте душевной:

– Тату, тату, а у нас братик е! Не успел он и договорить, как мать с размаху так хряснула его по затылку, что он, бедный, со скамьи слетел.

– Нэ бреши, чого не слид! – пригрозила. – Что за братик? – посуровел Семён Аристархович.

– Та сим рокив ему, – боязно огляделся на мать сын, но не смог не ответить на вопрос отца.

– Та хлопця чужого пригрила. Ще в вийну, – стала поспешно объяснять жена, а глаза в сторону повела. – Жалко дуже стало. Згинув бы без мене.

Снова разгладилось в доброй улыбке лицо Семёна Аристарховича. Да мальчонка не удержался и тут же разоблачил мать.

– Де ж ты его пидибрала, коли з таким пузом ходыла, – и он заблаговременно отскочил в сторону и показал руками, каким было это пузо.

– А с кем его оставили, почему сюда не привезли? – повернулся Семён Аристархович к жене.

Та отвела в сторону взгляд, поднялась из-за стола. И тут снова вмешался сын. Видать, у них с матерью на этой почве большой разлад был.

– Так вин з батьком зостався. У нас батько е.

Резко поднялся Семён Аристархович из-за стола, даже миска на пол слетела. Страшными глазами на жену посмотрел. Та не выдержала этого уничтожающего взгляда и выскочила из комнаты прочь. Семён Аристархович следом пошёл. О чём они там говорили – не докладывал. Но детишки мне всю правду выложили. Что живут они с отчимом. И это он надомил их сюда приехать. Говорил, что в Сибири живут богато. Отец для детей ничего не пожалеет – обует, оденет, денег ссудит. То-то, гляжу, они, как оборвыши, приехали. Так что это всё с умыслом делалось, оказывается.

– Так зачем же вы её защищаете? – вот тогда не выдержал я и спросил с вызовом Татьяну Алексеевну.

– Да не защищаю я её, – рассердилась на меня Татьяна Алексеевна. – Думать не хочу о ней. Недостойна она такого человека, как Семён Аристархович. Домой ехать собралась, потребовала огромную сумму на детей, мы и в руках отродясь такой не держали. Но собрали сколько можно, по соседям прошлась я. Одежду справили, продуктов дали. А она всё требовала и требовала. Всё мало казалось. Всё отдали.

Проводил Семён Аристархович детей на вокзал, домой вернулся. Долго молчал. А потом и сказал:

– Не могу я без детишек, Танюлочка. Поехали к ним поближе.

– Да что ты, – испугалась я. Ведь дальше Иркутска сроду не была. А тут такая даль. Люди чужие.

– А если тебе сердце подсказывает, ты едь. Может, в родных местах боль легче переноситься будет.

– А ты как же?

– А что за меня беспокоиться. Среди людей не пропаду. Говорила это жалобно, стараясь сердце его растревожить. Но не смогла. Уехал. Потом писал, что сошёлся с женой. Второй муж у неё по торговой части, на руку оказался нечист. Вот и отправили его на перевоспитание... Но сквозь строчки пробивалось, что радости промежду ними нет. Посылки присылал, яблоки и груши в них. У нас в Сибири такого добра не водилось. А потом стал только к празднику открыточки присылать. Последний раз с Новым годом поздравил и затих.

А я сердцем почувствовала, что помер он. Меня никто не уведомил, а беспокоить вопросами его родных я не стала. Потешались надо мной знакомые, факт. Правда, за глаза. Открыто лишь сочувствовали, жалели. А я храбрилась, духом не падала. Поначалу скучала сильно. Тоска сердце ела, что так трудно сложившееся бабье счастье в один миг разлетелось, словно зеркало, да ещё сама подтолкнула к этому. Но дороже мне всё же была мысль, что нашла моему ненаглядному дети-

шек, что не остался он в этом мире безродным. Ведь только детишки и могли дать ему в этой жизни, так неудачно скроенной, просвет.

В думках и делах старость накатила. Одно осталось впереди – воспоминания. И я часто вспоминаю Семёна Аристарховича. И лишь об одном жалею, что не спромоглись мы с ним с детишками. А ведь, казалось, друг для дружки были вытесаны. Ну да что ворошить, и так много наговорено...

– Ой! – только сейчас она заметила, что весь её рассказ я записал. Сердито ударила по ручке, отбросив блокнот. – Пишешь-то зачем? Доверилась тебе в душевной слабости, а ты и воспользовался. Теперь перед народом выставишь. Оно ведь и нынешние скажут, что старая глупость учинила.

– Не скажут! – попытался я защитить своих сверстников.

– Не защищай, не защищай. Я хоть и стара, но из ума ещё не выжила, – с горькой иронией произнесла Татьяна Алексеевна. И я промолчал. Глупо говорить за тех, кто ещё ничего в жизни не сделал.

Письма любимому

В этих письмах всё неизвестно – кто и кому писал, откуда и в какой город. Даже человек, передавший их мне как отклик на одну из публикаций, не стал представляться, а лишь предложил: «Прочтите! Это вас должно заинтересовать. Может, пригодится для печати. И не беспокойтесь – этих людей уже нет...»

Я читал с восхищением, а порой даже с завистью, читал с тайной мыслью: если бы это мне писали такие письма! Но не каждому может так повезти – подобное надо заслужить ответной любовью. Той самой, в которую одни верят, а другие – нет, потому что некоторых она накрыла своим ангельским крылом, а другие в это время предпочли стоять в стороне. И хотя в самом начале я сказал, что в письмах всё неизвестно, на

самом деле главное действующее лицо – Любовь – навсегда поселилось в этих строках, не тускнея от времени. Прочитай-те и убедитесь в этом сами. Как когда-то впервые это сделал я.

«... Три дня под впечатлением твоего голоса, любимый! Но звонить больше не буду. Ты такой чужой, официальный, торопящийся. Лучше будешь звонить ты... Звонить и молчать, как часто ты делал. Это и то ближе!»

«Город тепла. Доброму человеку. Здравствуй! Всё сделано для того, чтобы можно было биться о стену, а ты не услышишь. Чудо века!

Цивилизация! Расчёт! Машины! Разум! Пустота! Жуткая пустота!

Не ощущаю ни своего тела, ни души, ни даже оболочки. Жизнь оборвалась без всяких надежд. Время, которое будет нас разделять, настолько велико, что исчезает всякая иллюзия о будущей встрече.

Всё думаю: где же я? Неужели вся дотла растворилась в тебе? Ничего мне не осталось. Меня нет. И конвертов твоих нет. Пасмурно и худо.

Никогда мне не было так неудобно, как сейчас без тебя и твоих писем. Ничего не хочется, только взглянуть на тебя, отразиться в твоих глазах, ощутить твои губы, прикоснуться...

«Любимый! Родной! Самый нежный! Самый добрый! Какое горе постигло меня! Расстояние разорвало наши губы, и я истекаю в жутких страданиях тоски и боли по тебе! Большого горя я ещё не знала... целую каждую клеточку твоего сердца!»

«Мне очень нужны твои письма. Позови меня, увлеку, заведи меня в свои мечты, вызволи из реальности. Я здесь погибаю, я уже погибла и теряю веру в будущее, где есть и будешь ты!»

«Здравствуй, мой милый, добрый, нежный и сильный человек! Мне нелегко одной, без тебя. Я всю жизнь занималась не тем. Вдруг пришло раскаяние и сожаление, страх, что за спиной больше прожитых без тебя лет, чем впереди с тобой.

Всю жизнь я занималась устройством чужих жизней, была жертвой, искала себе силы в слабости других.

Кроме этих грустных размышлений, существует ещё реальная сегодняшняя жизнь, совершенно мне непонятная. А главное – опять без тебя... Ты говоришь: „Мы зависимы, прикованы объективной принудительностью“; ты повторяешь: „Надо ждать, и с близкими надо считаться“. Иногда я тоже так думаю и ради „близких“ поступаю разумно. Но когда близкие стонут от моей душевной окаменелости, когда плачут от моей ненависти и раздражительности, когда я вою в подушку и мечтаю об автомобильной катастрофе, о несчастном случае (у меня часто болит сердце), тогда как? Глупо задавать вопросы, я сама вершу свою судьбу, и никто мне не мешает открыть дверь и уйти, даже не к тебе, а в пустоту... Но сил нет, веры нет, впереди ничего не вижу, даже тебя... Хотя ты – это самое великое счастье! Ты единственный, ради кого я по утрам открываю глаза... Но я хорошо понимаю, что со своими страданиями тебе не нужна. Что делать, куда идти? Обо мне ты ведь ничего не знаешь. Ведь у меня никогда такого чувства не было и больше не будет... Я не нуждаюсь в своём „богатом домашнем мире“, где нет тебя. Я хочу в твой мир „простых заработков“. Как безумно хочется тебя видеть, посмотреть в твои глаза – может, это снова придаст мне силы, чтобы хотя бы думать разумно. Как безумно хочется прикоснуться к тебе! Целую тебя!

Как я тебя целую, Господи! Неужели ты не чувствуешь, как я тоскую вдалеке, как радуюсь твоим письмам, как я вся переполнена тобой и как я вся каждой клеточкой твоя?»

«Я без тебя совсем одна. Ищу в тебе силы стать свободной. Звонит последний колокол, а я боюсь не услышать... Зови меня, целуй меня, люби меня, заставь меня жить только тобой!»

«Получила два твоих письма, самых лучших письма в мире. Есть ли такие слова, которыми можно передать мою благодарность? Эти долгие ночи и дни без тебя с новой силой

захлестнули большим светлым чувством, которое струится из твоих писем. Всё, что было раньше, кажется такой неправдой, такой ложью, такой нежизнью.

Как хочется всё изменить, начать с нового отсчёта. Хороший мой, самый нежный, самый добрый! Люблю тебя! Кроме этого чувства к тебе и твоей правды, у меня больше нет ничего на этой земле».

«Ночь. И пришёл ты. И сердце, и душу полоснуло лезвие действительности... Вот она где, боль, вот они, слёзы, мольбы в подушку... Вот она, настоящая беда: ты есть в мире – и тебя нет рядом со мной. Я тебя обнимаю, а ты меня не слышишь, не держишь за руку. Мы на разных берегах, а между нами огромное бушующее море... Медленно гуляла по улице. Шёл снег. Мокрый и грязный. Некуда деться. Заглянула на почту.

О, если бы мне выдали сейчас твоё письмо! И моё желание сбылось!»

«Мой миленький, мой маленький бог, мой большой человек! Ничего не изменилось, кроме одного: тоска по тебе ещё горше, любовь к тебе ещё ярче и твёрже... Я призываю тебя стать сильным, как я!

Прекратить неверия и сомнения! Ты хороший! Ты самый лучший!

Перестань бояться жизни! Получила твои письма, и – о ужас! – обвинения: я молчу! Это я молчу?! Я пишу тебе по нескольку раз в день, я разговариваю с тобой ежеминутно. Я ищу себя только для тебя!»

«Сегодня очереди на почте не было. Я получила кучу писем и телеграм – му. Тут же села, прочитала... Мне очень трудно говорить с тобой сего – дня – надо сосчитать до миллиона, а на это понадобится вся жизнь».

«„Забудь – писем не будет!“ Как странно и неправдоподобно прозвучал этот текст телеграммы. Он навалился на меня как укор, как вина, как обида. За что? Я пыталась понять, до какого состояния тебя надо было довести, чтобы ты послал такие слова своему единственному другу... Я стала случай-

ной девкой, которую можно походя выбросить.

Зажать в угол обстоятельствами до предательства... Но нельзя же быть таким слабым, чтобы предавать не меня, а себя, вышвыривать из жизни друзей ради сиюминутного благополучия... Я никогда не принуждала тебя бросить семью, стать моим мужем... Я по другим канонам рассматривала наши отношения. Я их взрастила, я их лелеяла, я их берегла. И им никто не мог быть помехой: никакие мужья, родители, дети, общественность».

«Пасмурно. Туман от мороза. Снег. Стужа. Одиноко. Не нужно. Устала.

И письма я твои получаю – сигналы о твоём существовании, отчёты о прожитых днях без меня... Читаю, складываю в архив и думаю: как люди могут над собой издеваться, создавать своими руками себе ад.

Извини, строитель ада!»

«О тебе я всё равно думаю как о драгоценной реликвии, которая под семью замками, потому что слишком ценна, чтобы ею пользоваться каждый день... Даже тебе самому это не дано. И чем больше дней нас разлучает, тем глубже моё чувство к тебе, тем больше ненависти к обществу, окружающему меня. Только ты, только ты, только ты. Только с тобой, только с тобой! Только для тебя, только для тебя, только для тебя! Как жаль, что ты не можешь мне помочь. Кроме как от тебя, я не хочу принимать ни от кого протянутую руку».

«Мне понравилось твоё последнее письмо, перечитывала по три раза на дню. Ты бодр – лето делает своё дело. Особенно мне понравилось замечание, что ты совсем не изменился – значит, по прежнему любишь меня!»

«„А вы – другая!“ Нет, мой милый, ничего не изменилось. Просто устала, очерствела, замерла во мне вся женская суть. Нам нельзя быть далеко друг от друга так долго. Когда я получаю твоё очередное письмо, появляется шальная мысль всё бросить и мчаться к тебе немедленно. Но для этого нужно твоё желание, а ты молчишь!»

«Помни, есть я – твой друг и желанный человек, пусть тебя не пугает и не тяготит моё присутствие в твоей жизни. Кроме добра и тепла, я тебе ничего не принесу. Я не связываю тебя никакими узами, ничего не требую... Я отдам тебе свою душу, я люблю тебя. Кто-то сказал:

„Наш дом – это чужая душа“. Это обо мне для тебя!»

«Голос! Я услышала его на расстоянии. Там, за стенами... Сердце сжалось, дыхание стало нервным... Сколько раз я слышала его в своём воображении, сколько раз просыпалась ночью от ощущения твоего дыхания, прикосновения. И так же гулко билось сердце. Но на этот раз это не галлюцинации. Глаза в глаза! Внутренний рывок!

Взаимный! Настолько яркий, что если бы последовали на глазах у всех объятия и поцелуи, земное притяжение разрушилось бы. Мы бы ушли далеко-далеко, на другой уровень общения. Но нам достаточно было взглядов, чтобы снова начать жить друг другом... И совсем не нужны были слова. Я дожила до тебя. Мы есть!»

«С какой болью и тоскою я расстаюсь с тобой каждый раз! И с первых метров нашей разлуки начинается новая, мучительная, но счастливая жизнь ожидания. Как я жду тебя! Жду уже сегодня, спустя 12 часов.

Перечитываю твои слова на страницах записной книжки, тоскую, радуюсь, что ты есть, и бесконечно жду... Это к тебе так долго добираться, а от тебя самолёты уносят с бешеной скоростью. Лечу, и главный хирург жизни – разум – взялся за ампутацию памяти».

Суицид

*...для взаимной пылкой любви
необходимо много свободного времени...*

Из фольклора XX века

Мой школьный товарищ, сорокалетний офицер ФСБ Виктор Полуянов, пустил себе пулю в лоб. Застрелился, с точки

зрения здравствующих, немотивированно и не оставил никакой разъяснительной записочки о причинах отчаянного шага.

Хоронили его скромно, без военных почестей, суетно и скупно на слова, будто бы старались в молчаливом сговоре быстрее замять и по возможности даже стереть из памяти текущей активной жизни этот прискорбный факт, который ложился позорным пятном на всю малочисленную местную службу госбезопасности небольшого сибирского городка. Поэтому его бездыханное тело в последний путь отправилось преимущественно в узком окружении сослуживцев и их жён.

И то, что среди провожающих были два его школьных товарища – я и Валерка Слущенко, оказалось чистой случайностью. Полуянов жил со мной по соседству, а Валерка со своей женой накануне приехал ко мне погостить и с корабля угодил на похороны. Тем не менее, и в этой закрытой немногочисленной процессии, и на кладбище вокруг могилы, а затем уже на вязких поминках, где публично говорились только казённые слова, люди тихо перешёптывались, стараясь в привычном им тихом обмене информацией за стенами тайных кабинетов дошептаться до причин самоубийства.

На похоронах с Валеркой и его женой мы держались особняком.

Чужие для этой среды люди, жили хотя и рядышком, но не вместе. На кладбище мы отмалчивались, предоставляя возможность говорить другим, и внимательно слушали: о чём перешёптывалось недоступное нам в бытовой жизни окружение?

Версий было две. Смертельная болезнь, которую Полуянов решил прервать столь радикальным даже в кругу местных работников госбезопасности способом. Болезнь действительно имела, но не настолько смертельная, как казалось здравствующим. Но кто знает, что на самом деле испытывает один на один с болезнью человек, подтачиваемый фактом недуга?! Версию болезни разделяла мужская часть, и каждый примерял на себя: пошёл бы он на такой шаг? Мужики были в ос-

новном здоровые и потому, по определению, плохо понимали, как можно так поторопиться на тот свет, к тому же не оставив никаких распоряжений. Тем более что Виктор Полуянов был их начальником, который только-только пошёл в карьерный рост и возглавил местную службу госбезопасности. Как говорится, не по уставу.

Вторая версия была романтической, и её больше обсуждали жёны суровых мужчин. Им мерещилась за смертью несчастная любовь.

Правда, предмет тайной страсти, который якобы толкнул нашего товарища на суицид, оставался даже в этом закрытом, но во всём осведомлённом кругу неизвестен. Что-то там произошло, где-то далеко, в одну из командировок, после которой он вернулся сам не свой и впал в затяжную депрессию с тяжёлым пьянством. Но потом образумился, дела пошли в гору – и на тебе: пуля в лоб.

Нам тоже хотелось узнать правду. Но других версий в наших головах не рождалось, потому что мы вообще мало что знали о Викторе Полуянове с тех пор, как он стал служить в госбезопасности. Он умел конспирироваться даже в нашей тихой жизни заштатного городка, а в редкие встречи ничего не удалось узнать из его жизни. Фальшь улыбки всегда, будто намертво приклеенная, держалась на его губах, и оброни он случайно при мне в эти минуты скупую мужскую слезу, она не восстановила бы правды человеческого лица. Мне каждый раз казалось, что он чувствовал себя человеком только за сформированной тайной службой маской и снимать её даже перед своим школьным товарищем не хотел. Лишь однажды он меня спросил, верю ли я в загробную жизнь. На это я снисходительно хмыкнул, и он, расценив однозначно мой бессловесный ответ, тут же поддержал иронию так: вот и я тоже думаю, что на том свете у каждого своя сплошная тьма и для нашей встречи нет никого. К чему приложить этот пустой разговор, к каким событиям его жизни – теперь не угадать, и должна ли она заканчиваться самоубийством внешне благо-

получного человека – рассуждать бессмысленно.

– А может, его убили, а инсценировали самоубийство? – прошептал мне на ухо Валерка Слуценков, когда мы возвращались с поминок домой.

– Да брось ты! – махнул я на него рукой. – Птица не того полёта.

– А откуда ты знаешь?

– Знали бы, хотя бы по слухам! – был самоуверен я.

– Тогда ты веришь в болезнь?

– Я видел его две недели назад – он, как всегда, был закрыт, будто застёгнут на все пуговицы, но никаких жалоб на здоровье от него я не слышал. Полуянов при встречах всегда так ловко выстраивал разговор, что больше говорил я о недостатках нашей городской жизни, а он только запоминал факты.

– О чём вы говорили?

– Я про воровство местных чиновников. Да об этом говорят у нас все, особенно на базаре.

– А несчастная любовь вас не устраивает? – вмешалась в разговор супруга Валерки.

– Об этом известно ещё меньше – и вовсе ничего. Но стреляться из-за любви ещё глупее, – был категоричен я.

– А что мы знаем про него сегодняшнего? – сказал Валерка.

– Да почти ничего. Но он не похож на самоубийцу.

– А ты вообще думаешь о таком способе ухода из жизни?

– Я? Ну, если быть честным, то – да!

– А зачем думаешь?

– Ну, это как терапия: вот умру – все меня пожалеют, а я из гроба буду наблюдать за вами. Ну, это всё уже сто раз описано в литературе.

– А ты бы стал стреляться из-за любви? – неожиданно спросил меня Валерка Слуценков.

– Я? Никогда! – решительно отвёл его вопрос. – А ты такую мысль для себя допускаешь?

– Да, я бы, наверное, покончил с собой, если бы любимая женщина меня отвергла или, пуще того, умерла бы! Наверное,

застрелился бы или там другое, – невозмутимо ответил Слущенков как о чём-то давно для себя решённом.

– Да брось ты! – я был просто ошеломлён таким заявлением.

Одно дело – просто думать об этом, а другое – решиться на это, даже в словах.

– Не, на полном серьёзе: нет любви – нет жизни! – склонность к банальной афористичности водилась за ним.

– Ну ты даёшь! – я в замешательстве смотрел на Валерку, пытаюсь понять: он говорит правду или так, для красного словца наигрывает ситуацию, как в школьном драмкружке, куда мы с ним ходили в старших классах по просьбе наших подруг?

Но по его строгому задумчивому виду понимал, что он сейчас откровенно делился своими подлинными чувствами.

И в эту же минуту я выхватил у него за спиной лицо жены. Она смотрела на Валерку Слущенкова с таким обожанием, восторгом, с той самой любовью в глазах, за которую он готов был здесь и сейчас умереть! А я на фоне её рыцаря любви выглядел замшелой равнодушной скотиной, недостойной даже взгляда стоящей с нами рядом женщины, которая обожала Валерку в эту минуту так сильно, что, казалось, мы не с похорон идём, а из театра, где давали восхитительное представление.

Меня настолько это выбило из равновесия, повергло в затяжное уныние, что я предпочёл надолго замолчать. Лишь спустя пару часов, дома, стоя на балконе с сигаретой, я осмелился напомнить:

– Валер, ты серьёзно готов ради любви застрелиться?

– Ты что, с ума сошёл?

– А чего после поминок нёс?

– Чёрт его знает, тогда казалось, что смог бы, – виновато улыбнулся он.

– Ну у тебя и шуточки, – расслабился я, хотя чувство обиды на Валерку не проходило, а постепенно перетекало в какую-то кочевую злость и желание даже смазать ему по морде.

– Бывает, – криво усмехнулся Слущенко.

И я читал в его лице такую же искренность, как пару часов назад, когда он демонстрировал готовность если не умереть, то хотя бы пострадать за любовь.

Сюжет для антиромана

Какой бы сюжет кто ни взял, для большинства в нём всегда будет высказано слишком мало, но для людей умелых всегда будет сказано слишком много.

Люк де Клапье маркиз де Вовенарг

Как только в мире завелась литература, а у неё образовались кружки читателей, родилась крамольная мысль: «И моей жизни хватит на целый роман». У кого родилась? Да у каждого, кто хоть раз прочитал до конца толстую книгу и прожил, по крайней мере, лет сорок. Такой читатель, захлопнув мечтательно-увлекательный томик прозы или стихов, начинал думать, что ежели кому-то из этих бойких ребят рассказать свою жизнь, то он из неё настроит добротную книжицу, которую с удовольствием прочтает полтора миллиона образованных людей. Эта мысль давно мучила Платонова, и он мечтал её осуществить в реальной жизни. Рассказов у него хватало, и слушатели даже иногда встречались, но только не было среди них ни одного, кто бы мог это складно изложить на бумаге.

Но однажды Платонов такого человека встретил. Правда, книжечка у него была тонкая, и не прозы вовсе, а стихов, и прочитало её не больше ста человек, поскольку тираж её был всего двести, и сто первый экземпляр с дарственной надписью Платонов получил от автора. Дело было даже не в книжке стихов – Платонову поручили сопровождать автора к герою труда. Это было время, когда редакция газеты, где работал поэт, интересовалась рабочими людьми и регулярно публиковала о них героические очерки. Вот и нашего поэта направили в бригаду Никиты Петровича Зосимова, чтобы создать

портрет бригадира-орденоносца. А Платонов был над этой бригадой мастером.

Пока находились в пути, журналист расспрашивал Платонова о бригадире. Но, к своему удивлению, мастер, хотя проработал с Зосимовым лет двадцать, ничего существенного рассказать не мог – только голые факты биографии, проценты выработки, общественные нагрузки, перечень грамот и правительственных наград. По вопросам журналиста чувствовалось, что тот недоволен собеседником.

Особенно недоволен тем, что Платонов как-то незаметно переводил разговор на себя и пытался обстоятельно рассказать новому знакомому свою жизнь. Журналиста жизнь Платонова не интересовала.

И он как-то быстро скис. В тайге, в рабочем вагончике, Зосимова не обнаружили, хотя вся бригада была в сборе и судорожно хлебала крепкий чай. Чувствовалось, что парни с большого похмелья.

– А где бригадир? – поинтересовался Платонов.

– Готовит новую площадку, – ответили вяло рабочие.

– А вы прохлаждаетесь?

– Успеем ещё наработаться – нам сегодня в две смены, – буркнул один из лесорубов.

– Это за вчерашний прогул? – проявил свою осведомлённость Платонов.

– Всё-то вам известно!

– На то и поставлен, – усмехнулся Платонов.

Разговор не клеился. По всему было видно, где-то у них припасена бутылочка водки. И рабочий класс демонстрировал недовольство ранним прибытием хоть и небольшого, но всё же начальства, да ещё с непрошеным чужаком-журналистом. Доставать бутылку при гостях они не решались.

– Ну, расскажите товарищу журналисту про вашего орденосного бригадира, – настаивал Платонов.

– А чё рассказывать? Работает как лошадь и другим покоя не даёт!

Только нам от его орденов ни холодно ни жарко, – буркнул всё тот же работяга.

– Ну-ну, полегче, – одёрнул болтуна Платонов.

– Полегче так полегче, – согласился с ним рабочий и замолчал.

– Что, грозный бригадир? – задал первый вопрос журналист.

– Злой на работу! – сказал всё тот же голос. – Выработка самая высокая.

– А разве это плохо? – цеплял журналист.

– Начальству хорошо, а подчинённым тяжко!

– А когда у кассы стоите за зарплатой? – вмешался Платонов.

– У кассы хорошо, – согласились с ним рабочие. – Кому ж у кассы плохо?

– Нам касса – свет в окошке, – кто-то отшутился.

– То-то! – развеселился Платонов и добавил больше для журналиста: – Я над всеми начальник, а получаю меньше вашего.

– Так идите к нам на валку, будете тоже при больших деньгах, – съязвил рабочий.

– А ты на моё место, – огрызнулся Платонов.

– Образованием не вышел!

– Тогда помалкивай. Ну что, поедем к Зосимову? – спросил у журналиста Платонов.

– Поехали, – быстро согласился журналист, чувствуя, что из трудового коллектива ничего вразумительного сейчас не вытянуть.

Зосимов принял гостей тоже сдержанно.

– Времени нет разговаривать. Ну, задавай свои вопросы, – сказал журналисту и, закулив крепкую папиросу, присел на бревно, разминая натруженные ладони.

Журналист быстро достал блокнот, стал энергично задавать вопросы, Зосимов отвечал однозначно. Разговор явно не клеился. Минут через десять Зосимов поднялся:

– Надо работать.

Не обращая внимания на возражения журналиста, включил бензопилу.

– Эдак я ничего не напишу, – впервые растерялся журналист, обращаясь к Платонову за помощью.

– Бесплезно спорить! — отреагировал Платонов.

Постояв пять минут и понаблюдав за работой бригадира, спросил:

– Ну, что будем делать?

– Я не знаю! – растерянно смотрел на мастера журналист.

– Мне без материала никак нельзя возвращаться.

– Зосимов, слышь, человек ведь тоже работает. Ему без материала возвращаться в редакцию нельзя.

– А я тут при чём! На все его вопросы я ответил. Он, что ли, за меня кубометры даст? — ответил Зосимов.

– Понимаете, – начал объяснять журналист, – надо поговорить без спешки, на это нужно время.

– Некогда! – отрубил Зосимов.

Платонов и журналист отошли в сторону. Молчали.

– Я не знаю, чем вам помочь, – сказал Платонов. – Всё, что можно рассказать о нашем орденоносце, я вам рассказал.

– Этого хватит только для короткой заметки, а мне надо написать большой материал! Всё это я в отделе кадров прочитал. Мне нужно что-то живое. Необычное. Яркое.

– Да что тут необычного? Весь день стоит с бензопилой, валит да режет древесину. Вся яркость – в ведомости на зарплату да когда орден очередной дадут.

– Но другие тоже валят да разделявают, а выделили этого.

– Больше всех валит...

– Но этого мало для очерка...

– Для очерка? – удивлённо востепенулся Платонов. Это малознакомое слово почему-то поразило его. – Да, наверное, мало. Эй, бригадир, ну-ка пилу выключай, – решительно командовал Платонов.

Но тот даже ухом не повёл.

– Я же говорил: бесполезно, – сник Платонов. – Вспомнил! У него жена в соседней бригаде кашеварит. Поехали к ней...

Возвращались Платонов с журналистом в город к вечеру. Журналист что-то там дописывал в блокнот.

– Ну, теперь-то хватит для очерка? – поинтересовался Платонов.

Ему уже надоело молчать.

– Негусто, но выкручусь, – сказал журналист.

– Ну и работка у вас. Если народ друг про друга ничего сказать не может, откуда вы столько материала берёте?

– Сами догадайтесь!

– Выдумываете?

– Фантазируем! — улыбнулся журналист.

– А если к вам вот так неожиданно подойти и потребовать рассказать о себе – много напишете? – перехватил инициативу Платонов.

– Чёрт его знает! Мне никто таких вопросов не задавал, про меня ведь не писали.

– Как же – вы целую книжку стихов выпустили, я как читатель вот интересуюсь.

– Вы первый, кто проявил ко мне интерес.

– Не может быть!

– Почему же не может? Очень даже может. Люди живут рядом всю жизнь, а трёх слов друг про друга вымолвить не могут.

– Вы имеете в виду жену Зосимова? Так она неотёсанная тётка, три класса образования, повариха.

– И с высшим образованием люди не лучше. Это вообще проблема – рассказать о человеке. Поверьте мне, я-то уж знаю. А если люди рассказывают, то столько вранья.

– Вранья?

– Конечно! Тютчевым сформулировано: слово сказанное – ложь!

– А, ну да, ну да! — Платонов как-то быстро скис и погрузился в свои мысли.

А журналист тоже гонял мысли в голове, радуясь, что Платонов от него отстал.

А Платонов думал: как же так, вот сколько раз он мечтал рассказать о своей жизни грамотному человеку, чтобы тот сложил из его жизненного пути книгу. Не обязательно с его фамилией, не обязательно точно о нём, но как герой он бы сгодился для хорошего романа.

Прожил сорок лет, а ведь и про него, может быть, тоже рассказать нечего. Зосимов вон какой человек – на Доске почёта, в орденах, а едва наскребли на очерк какой-то. Ещё надо почитать, сколько там той правды будет в газете. И люди рядом с ним годами. А трёх добрых слов сказать не смогли. Как в характеристике из отдела кадров. Так же будет и о нём. Платонов свою жизнь представлял раньше иначе, всю в достижениях, каждый день ему казался важным. А возьми для книги его биографию – и нет ничего в его жизни ценного. Даже на газетный очерк не хватит.

В городе они попрощались у гостиницы, и Платонов пошёл домой.

Шёл один, никого не замечая, только мысли преследовали его, не оставляли в покое, и он перекручивал, словно на мясорубке, свою жизнь, которую мог бы рассказать журналисту. Но тот им даже не интересовался. Обидно.

Поев без аппетита, Платонов лёг спать. Сразу уснул. Но среди ночи проснулся. Жена не спала – читала какой-то женский роман.

Платонов толкнул её в бок:

– Слушай, жена, а ежели спросит тебя какой-нибудь писатель о моей жизни, что ты ему расскажешь?

– А чё это он будет у меня спрашивать? — удивлённо посмотрела на него супруга.

– Ну, мало ли, захочет книгу обо мне написать.

– И с какого перепуга о тебе книгу будут писать?

– Это сейчас я никто. А вдруг прославлюсь?

– Господи, спи, ты сорок лет никто, звать тебя никак, и не

думаю, что станешь кем-то важным.

– И это всё, что ты можешь обо мне сказать? — рассердился Платонов.

– Да спи, дурачок, – захлопнула супруга книгу и выключила свет.

А Платонов в темноте всё прокручивал слова жены: «дурачок» и «сорок лет ты никто». «Бл...ь, – подумал он, – и на хрена этот журналист попался сегодня, книжку подарил?» Только сейчас Платонов вспомнил про стихи. Он поднялся.

– Ты куда? – поинтересовалась жена.

– Куда даже король пешком ходит!

– А! — перевернулась жена на другой бок.

Платонов достал из сумки книгу стихов, закрылся в туалете, раскрыл первую страницу и начал читать. Слова были знакомые, но, сложенные вместе, становились такими, что ни одной строчки стихотворения Платонов не понимал. Прочитав всю книгу, Платонов начал её терпеливо перечитывать. Но от второго чтения книга понятней не становилась. Он в сердцах разорвал книгу и бросил в унитаз. Резким движением спустил воду. Ключья страниц тоненькой книжки не тонули, ворочались в водовороте, и Платонов вынужден был несколько раз ждать, когда наполнится сливной бачок, и спускать воду, чтобы смыть все эти стихи к чёртовой матери. Только когда последний бумажный клочок со стихами исчез навсегда, Платонов успокоился и пошёл спать. Спал он долго и крепко, но, проснувшись утром, с удивлением вспомнил, что всю ночь во сне что-то пытался написать, и чем больше он писал, тем гуще становилась неизъяснимая пустота, которая окружила его во сне, и теперь вот стояла крепко-накрепко вокруг него в реально текущей жизни. Никогда Платонов не чувствовал вокруг себя такой опустошающей пустоты, и ему впервые стало страшно жить дальше в одиночестве пустоты.

Гуманный Донжуан

Песнь блудницы

Вся!Вся!Вся!Вся!

Всё!Всё!Всё!Все!

Всяк!Всяк!Всяк!Всяк!

Всем!Всем!Всем! Всем!

Надпись в парке культуры

Он сел в такси четвёртым. По дороге, как часто бывает, завязался разговор на женскую тему. Спор раскрутил таксист – молодой трепливый блондин, который только-только открыл свой донжуанский список и готов был врать с три короба. Житейская философия подобных проста: все женщины мира только и заботятся о том, чтобы наставить рога супругам с такими бойкими и ловкими ребятами, как наш таксист. А поскольку в такси подобралась компания мужская, то разговор был поддержан. Чего-чего, а бахвалиться своими сексуальными успехами, расцвечивая их картинками, мужики любят. Нашего шофёра интересовало больше всего, сколько у нас было женщин.

– У меня было шесть жён, – сказал тот, что сел в такси последним.

– Всего? – рассмеялся признанию шофёр, призывая нас поддержать иронию.

– А ты считаешь, шесть раз жениться – это так просто? – заметил ему невозмутимо пассажир.

– А не про женитьбу, а про свободный ход! Таксисты и артисты всегда люди свободные! – и водитель стал хохотать пуще прежнего, призывая нас в союзники.

– Я так не умею, – откровенно признался пассажир.

– Подожди, подожди, – вмешался я в разговор. – Ты действительно был шесть раз женат?

– А что, нельзя? – в голосе собеседника послышалась нотка обиды.

– Да ты врешь. Тебя ЗАГС больше трёх раз не пропустит. У них по этому поводу указания имеются, – закричал шофёр.

Тогда пассажир молча полез в сумку, вытащил паспорт и подал мне. Я развернул его на девятой странице, где графа «Семейное положение».

Пересчитал.

– Ну что там? – не унимался шофёр.

– Всего три женитьбы, – посмотрел я удивлённо на обладателя паспорта.

– Правильно, в паспорте на женитьбу отведено две страницы, ты полистай дальше, – невозмутимо заметил тот.

Я перелистал и, действительно, в конце паспорта обнаружил ещё три отметки о семейном положении. Судя по паспорту, пассажир был холост.

– Он, братцы, шесть раз был женат и опять свободен! – доложил я честной компании.

– О, небось жениться надумал? – тут же насел водитель.

– Ты прав, задумал, – сообщил как о чём-то обыденном пассажир. – Вот сейчас к ней и еду.

– С ночёвкой? – сразу затянул свою песню водитель.

– Нет, я до женитьбы в такие игры не играю, – отрезал пассажир.

– Во даёт! – распетушился парень. – Ты у нас гуманный донжуан? А сколько у тебя детишек?

– Бог миловал, через одну – всего три. Я не признаю, как ты тут рассказывал, похабщины. Я если женщину люблю, то хочу, чтобы всё по-честному было, чтобы она зла на меня не держала.

– Через ЗАГС, что ли? – не утерпел шофёр.

– Да, через ЗАГС!

– А потом другую полюбил, и всё снова?

– Да, снова!

– Ну, знаешь – крыша едет от такой честности.

– Это твои проблемы, – первый раз улыбнулся пассажир.

– Разводился со скандалами? – поинтересовался я у опытного человека.

– Нет. Меня женщины всегда с миром отпускали. Они мне верили и понимали. Я ведь не ленивый человек, не жадный. В чём был, в том и уйду, а всё нажитое оставляю. Да и потом не обижаю. Они у меня, между прочим, недолго девуют – все замуж выходят.

– Так это какие бабки зарабатывать должен, чтобы всю ораву прокормить? – удивился водитель. – Врёшь, небось, покрасоваться хочешь: вот какой я необычный.

– Что мне перед тобой красоваться – красоваться надо перед женщиной, которую любишь. – Стой, стой, – неожиданно прикрикнул он, – мне на углу останови. Я прибыл.

– Посмотрев на счётчик, полез в карман за деньгами.

Не надо денег, считай, я тебя даром довёз! – махнул рукой таксист.

– Я к дармовщине не привык, – протянул деньги пассажир, но, увидев, что водитель не берёт, положил рядом с ним. – За чужой счёт жить не приучен.

Пассажир вышел, а машина тронулась дальше. Водитель продолжал хохотать, всячески обзывая случайного попутчика. Но никому разговора поддерживать не хотелось. Как-то всё переменялось в салоне. Гуманный донжуан что-то неуловимое оставил в атмосфере, словно невидимый запрет наложил на тему. Так она и угасла до того, как мы рассчитались за проезд и разошлись каждый своей дорогой.

Каждый раз, когда я рассказываю людям об этой встрече, меня обвиняют в том, что я всё придумал. Мужчины наотрез отказываются верить, и только отдельные женщины соглашались, что такое может быть.

Записки мальчиша-плохиша

Моё первое воспоминание – один дома

Ваши детские воспоминания сфабрикованы головным мозгом – ученые.

1958 год. Изюм, улица Ивановская. Зима. На улице вечер.

Мне три с половиной года. Бабушке Фене нужно отлучиться через несколько дворов к подружке по делам. Я не соглашаюсь один оставаться дома. Взять с собой бабушка меня не может. На дворе ночь. Дом жарко натоплен. Я вымыт, укутан в простыню и лежу на топчане у окна готовый ко сну. Но бабушка каким-то тайным образом уговаривает меня посидеть одному.

Бабушка даёт последние распоряжения, как себя вести, главное – не вставать с топчана, не бродить по холодному полу (в натопленной хате, построенной еще до революции, укрытой камышом и соломой, пол был земляной) и скрывается за дверью, откуда на меня подул уличным холодом. Мне становится страшно, жуть постепенно охватывает моё одинокое, оставленное на произвол судьбы тело. Я начинаю медленно хныкать, но не громко, чтобы не привлечь внимание чудовищ, которые бродят вокруг хаты. Лежа на топчане, я достаю ногой до окна и слегонца бью пяткой в шибку. Окна маленькие, стекла мутные, за ними крошечная темнота, которая пугает меня пуще всего. Чем больше я боюсь, тем сильнее выстукиваю в стекло пяткой.

Сколько это продолжалось – сказать не могу, но мне показалось долго-долго. Но как только открывается дверь и на пороге появляется любимая бабушка со словами облегчения, я так сильно двигаю ногой в стекло, что стекло рассыпается вдребезги и ранит ногу. Холод сразу метнулся в комнату, всюду кровь, я реву что есть силы, перепуганная бабушка с порога бросается меня спасать...Дальше мало что сохранилось в детской памяти, только большая подушка, которой заткнули оконце хаты, и перевязанная чистой тряпичкой пятка, на которую больно ступать...И еще слово «ах, паразит!», которым потом всегда будет обзывать внука бабушка после моих детских проказ...

Толстый

С первого класса я учился с Вале́й Борода́й из нашего двора. Девочка она была болезненная: слабенькая и худенькая. Часто пропускала уроки, и ее мама поручила мне опекать подружку. И я опекал – по дороге в школу и домой. Как-то по пути после уроков говорили обо всех наших одноклассниках. Перед домом стали обсуждать наших «толстунов».

– У нас в классе три толстяка! – сказал я.

– Четыре! – самоуверенно поправила меня девочка.

– И кто четвертый? – немало удивился я.

– Ты! – без сомнения простодушно ответила худенькая Валя.

– Не может быть? – я остановился, пораженный этому откровению девочки, поскольку всегда считал себя большим, крупным, но не толстым. Тем более, что до этого случая никто и никогда меня в этом не обвинял.

– Конечно, ты вон какой толстый, – настаивала на своём Валя, размахивая передо мной тоненькими ручками.

Но я слушать её дальше не стал, а побежал домой. Бросив портфель, сняв куртку и одежду, в одних трусах остановился у зеркала и принялся себя внимательно рассматривать. Ничего толстого в себе я не находил. Видел себя большим, крупным, сильным. Для пущей убедительности сжимал руки, демонстрируя скромные мальчишеские бицепсы. Видел себя в отражении, ну, никакой не толстым, а всё это эта завистливая мелюзга придумала.

На следующий день уже шел в школу самостоятельно, и вернулся без Вали. И в классе держался от нее подальше. Валя почувствовала перемены в наших отношениях и тоже держалась особняком.

Через две недели мы столкнулись с Вале́й во дворе. Я был со старшими мальчишками, которые принялись дразнить хлипкую девочку. Я тоже поддержал их обидные слова. До этого Валя терпеливо сносила брань мальчишек, но когда к

ним присоединился её бывший друг, то она неожиданно бросилась на меня с кулаками. И в ответ я начал её бить.

Я бил её со всей мальчишеской силы, вкладывая в удар всю недетскую мощь, которой уже был наделен. Валя отлетела от моих ударов, но я догонял ее и снова колотил. Бил руками и ногами, под дружное одобрение соседских пацанов. И оставался только тогда, когда меня скрутили взрослые, которые выбежали на крик. Окровавленная девочка с трудом уползла в свой подъезд, где ей навстречу с криком бежала мама.

Вечером пришла к нам мать Вали. Она кричала, плакала, говорила, что Вале вызывали врача, она так пострадала.

– За что? – не понимала мама Вали. – Вы ведь так дружили!

Я молчал. Потом приступила к разбирательству моя мать. В руках у нее был тяжелый аргумент – ремень, который она пустила в дело. Она тоже спрашивала: за что ты, зверь, избил девочку? Но я упорно молчал. Я сам не понимал – за что я побил хрупкую, болезненную Валю, потому что уже не помнил – с чего началась моя обида?

И молчал всю жизнь до этой минуты, когда вы все узнали вместе со мной подлинную правду. Потому что только сейчас, когда я стал большим и, как справедливо заметила Валя, толстым, эти два эпизода у меня связались воедино.

PS:

Недавно одноклассница прочитала этот рассказ Валентине Бородай, но она искренне удивилась – ничего такого не было, это Вовка что-то придумал! Потом мы общались с Валею по скайпу и она читала мне свои стихи, которые пишет всю жизнь. А про мои мемуары детства даже не вспоминали...

Смерть воробья

... история начинается...

Сергей Жадан

Моя личная история начинается с убийства крохотного воробья, которых в Изюме почему-то называли жидами...Дворовые приятели из рогатки легко убивали птиц десятками, а я был не настолько удачливым в нашей мальчишеской охоте... Мастерил рогатки вместе со всеми, готовил дробь, но никогда не попадал ни в одну птицу, хотя метко стрелял по консервным банкам...А мне так хотелось убить воробья.

Но однажды, по дороге в магазин за хлебом, я увидел одинокого беззаботного серого воробья, мирно клюющего семя травы на поляне, среди кустов акации... И тут я понял – это мой! Но рогатки в эту минуту с собой не было. Тогда я поднял с земли тяжелый камень, сделал несколько осторожных шагов запрограммированного на удачу охотника, и швырнул в сторону птицы. Я был, как никогда, точен и радостно ощутил удачу попадания, которая разлилась во мне теплом...Но при этом я услышал, как противно чавкнуло беззаботное серое тельце и воробей, не успев расправить крылья, остался лежать под булыжником...

Я торжествовал! Сердце мое трепетало радостью победителя, которому наконец-то удалось добиться успеха в схватке с птицами. Оглянулся вокруг, но никто не видел моей победы!

И я шагнул вперед, чтобы рассмотреть свой трофей. С выходящим снизу живота страхом и волнением поднял камень, и увидел кровавое месиво в перьях.

Тошнотворный ком подкатил к горлу...Мне захотелось плакать, но я настойчиво давил в себе слёзы юного убийцы... Пять минут я не знал, что мне с этим делать, куда бежать, кому рассказать о жуткой победе, и как мне стало плохо, но в эти минуты я твердо решил – БОЛЬШЕ НИКОГО НИКОГДА НЕ УБИВАТЬ!

Я тут же закопал убитого мною воробья и только потом отправился за хлебом, но никому и никогда не рассказывал о своем первом и единственном

торжествеохотниказаптицами.

Эта случайная удача обнаружила во мне слюнтяя и слабака...Но как-то потом я прожил довольно долгую жизнь, больше не замарав себя кровью...

Восьмое марта

После смерти отца мама дважды пыталась устроить свою личную жизнь. Помню дядю Володю. В сером костюме из недорогой простой ткани. Работал он на мясокомбинате. Передвигался по городу Изюму исключительно на велосипеде, пахнул водкой, кровью и сытостью... С работы в сетке доставлял в дом замокший бумажный пакет с мясопродуктами. Часто самостоятельно, никому не доверяя, готовил говяжью печенку и свежую кровь – любил потреблять под водочку. Но был худым. Постоянно состоял в нетрезвом состоянии. Однажды в застолье, зажатый родичами с двух сторон, сильно выпил и ему стало дурно, выйти из-за стола не успел. И рвотной, плохо переваренной массой окропил всё и всех вокруг. Сохранился в памяти шумный скандал, замывание праздничной одежды и дурной запах...Больше ничего о дяде Володе не запомнилось, а вскоре он исчез из нашего дома вместе с велосипедом, запахом перегара и подгорелой крови...

А потом появился Валентин. Первая встреча с ним состоялась восьмого марта. Он пришел нарядный – и сразу подарил маме коробку конфет. Они сидели на диване, коробка была освобождена от золотистой тесёмочки и аппетитно расположилась между ними. Ровными рядами лежали в ней шоколадные конфеты. Это была «Ромашка». Об этом я прочитал еще на коробке. Конфет в доме не было, обходились клубничным и вишневым вареньем...Изредка – подушечки!

Мама с Валентином ворковали, а я не спускал глаз с вол-

шебной коробки. Мне для порядка дали только одну конфету, чтобы я отошел и не мешал разговору. А так хотелось еще... Мама тоже съела одну конфетку – ничего не ускользало от моего пристального счетоводческого взгляда... И благосклонно протянула мне вторую... Я тут же съел и её... Детским умом понимал, что нужно сделать паузу и дипломатично удалиться в другую комнату, присматривая за коробкой конфет из-за двери... Мама еще взяла конфету, но тут же положила обратно, облизав смачно палец, на который прилип шоколад... В это время Валентин достал из кармана пиджака пакет и развернул яркий платок, от вида которого мама радостно рассмеялась..

– Настоящий шелк, – произнесла она.

– Нравится? – спросил Валентин.

– Очень! – мама набросила платок на плечи и, поднявшись в обновке, глянула себя в зеркале. Воспользовавшись моментом, я выскочил из укрытия и, стремглав пролетев по комнате, ловко выхватил из коробочки еще одну конфету, которую отложила мама, и запустил быстро в рот... Праздник примерки шелкового платка отвлек гостя, и я снова посягнул на очередную сладость и тут же уловил осуждающий взгляд Валентина... Но кавалера отвлекла мама. Благодарным поцелуем... А я снова пошел на штурм коробки... Когда радостные мама и Валентин вернулись на диван, то гость зорким взглядом пересчитал содержимое: коробка к тому моменту оказалась уже на треть пуста.

– Ну, братец, как ловко ты подарок для мамы оприходовал, – упрекнул меня новоявленный жених с подарками.

– Та хай хлопчик поест, – добродушно сказала мама и протянула мне всю коробку. Я подхватил великую ценность того дня и, не замечая больше строгого взгляда Валентина, скрылся в соседней комнате, оставив молодых наедине. Для меня в эти минуты не было ничего важнее конфет «Ромашка» в коробке, которые я попробовал 8 марта 1963 года впервые... А было мне тогда восемь лет.

Обжираясь шоколадными конфетами я даже не предполагал, что меня ждёт несладкая жизнь с Валентином, который станет надолго отчимом. И это будет длинная печальная повесть до моего ухода в армию, которая началась с волшебной коробки конфет «Ромашка»...

Детские мечты

Детей опрашивают в саду: кем хотите стать, когда вырастаете? Потянулись вверх ручонки, зашумели наперегонки:

- Генералом!
- Лётчиком!
- Космонавтом!
- Артисткой!
- Продавцом мороженого!

Долго не стихали голоса детских фантазий, которые вызвали улыбки умиления на лицах воспитателей... И только один мальчик тихо-тихо прошептал:

- А я хочу быть с-ума-сшедшим...

Дети рассмеялись. Взрослые многозначительно переглянулись. Разве объяснишь этим карьеристам и их пособникам, что слышал ребенок среди ночи, как мама нежно называла папу «сумасшедшим»... А мальчику уже с малых лет не хватает в жизни таких трепетных слов.

Владимир ЭКСПРЕСС

Стакан

Стакан наполовину пуст.
Что ж, я наполовину пьян.
А вечер прян, и воздух густ,
И путь безудержимо прям.

Ступени падают во тьму,
Туда где тени — маски звёзд.
И потому я не пойму:
Лечу с моста, бреду на мост?

Земля ли шар? Земля ли куб?
(Привет тебе, «О, Пикассо!»)
Ответно получив по щам,
Мусолю рубль, но не висок.

Мне в лунный бар, где холод лёг.
(Пуškai сегодня вечер порван),
Там «Незнакомку» ищет Блок.
Стакан — наполовину полон.

Дождик пишет азбукой Брайля.
Окантовкой — дверной проём.
И ведро, куда слов набрал я,
Легко выплесну за окоём.

Про легко, признаюсь, бравада.
Я не пью, я гашу костёр.
Приглашают — в 12 бал ада.
Не поможет визит в костёл,

Ни имам, ни брахман, ни лама,
Кукла Вуду умрёт безвинно —
(Всех религий сильнее реклама),
Верю только в свою половину.

Утро

Смартфон не мудро
Сон обесточил,
Сбыл лязг состава.

Не по уставу
Овечьей шубой
Снежит скамейку.

Окон семейку
Напротив в доме
Ножом восхода.

Конец похода.
Слова устали.
Табло прилёта.

Галина ГНЕЧУТСКАЯ

В библиотеке

Мне книги стали как цветы.
Их лепестков едва касаясь.
За жизнь их вечно опасаясь,
Смотрю на них без суеты.

Я не читаю, я летаю.
С цветка порхаю на цветок,
Как бабочка, как мотылёк,
Нектар в ладони собираю.

Беспечно мотыльком кружусь,
Заботы жизни забывая.
Нет, я пчелой с утра тружусь.
А бабочкой – воображая.

Месяц

Месяц, месяц молодой,
Подари мне золотой.
Я в Италию поеду,
Буду там гулять с тобой.

Месяц кинул золотой –
Тот упал в стране чужой.
Я опять останусь дома
С бледной старою луной.

Разговор

– Иллюзиям не предавайтесь, –
Сказала мне одна старушка.
– Иллюзии мечту питают! –
Ответил мне один старик.
– Жизнь не пирожное, а сушка, –
Сказала мне одна старушка.
– Мы сушку запиваем чаем! –
Заметил мне один старик.
– Живу я слишком иллюзорно, –
Я ей покаялась покорно.
– Но ценишь ты счастливый миг, –
Сказал задумчиво старик.
– Дано мне радостей так много!
– Вот и ступай своей дорогой, –
Сказала мне одна старушка,
И улыбнулся мне старик!

Весна в Братске

Мой город предстаёт
То зимним, то весенним.
Потоки талых вод
Струятся по ступеням.

Как древний панцирь, снег
Оледенил газоны,
И кажется, что век
Не знать нам трав зелёных.

Чуть солнце припечёт,
И сразу веет маем.
А в полночь снег идёт,
А в полдень снова тает.

И эта круговерть
Томит и раздражает.
Но ты терпи, как зверь:
С природою сближает.

Венеция

Чем не Венеция в подземном переходе? –
Вода стоячая канала вроде.
Я по мосткам ступаю осторожно.
Так сыро! Но гондолу вызвать можно.

Внезапно голос грубо-безыскусный
Разбудит разум, перестроит чувства.
Он в переходе мрачно-узком
Поёт о нашем беспросветно-русском.
Венецианская мечта здесь неуместна,
И мне в гондоле не найдётся места.
Но иногда слышу флейты звуки,
И дрогнет сердце не от радости – от муки.
Играет баркаролу мой ребёнок,
Умом не крепок и душою тонок.
При этих звуках я уже в гондоле
С мечтой о нашем дальнем русском поле.

Кричат над городом вороны

Кричат над городом вороны,
В ответ им во*роны кричат.
Торжественно и похоронно
Их крики в сумерках звучат.

И голые вершины сосен
Напомнят, что окончен бал...
Но в них просвечивает просинь –
Ведь это же февраль настал!

Чернил! Чернил!
Но нет, не плакать!
Глаза сверкают, я не спешу.
И надо мной не надо каркать:
Я жить пытаюсь. Я пишу!

Фарфор

Сине-белый фарфор
С Петербургским мостом
Не позволит бесед о пустом.
Ни домашних одежд,
Ни унылых невежд —
Только самых высоких надежд!
И художник, замысливший
Дивный фарфор,
Красотою наполнил узор:
Золотым ободком
Он обвёл окоём
С белым небом и синим мостом.
Я на этом мосту
Сорок лет тебя жду.
Приезжай на изысканный чай!
В эту чашку налью
И поток отопью...
Ты меня не разбей невзначай.

Елена ПОПОВА

До константных судьба предсказана
Величин,
А про то, что ещё не сказано,
Домолчим.

Протекает беседа мысленно,
Каждый слог...
Поиск старой забытой истины –
Монолог.

И текут деньки, Богом данные,
Чередом.
Домолчаться хотим до главного,
Аксиом.

Нам для поиска доказательства
Нет причин.
Невмешательство?.. Помешательство?..
Помолчим...

* * *

Не посмеют тому, кто не понят никем,
Аплодировать.
Остаётся сидеть в вечном поиске тем,
Фантазировать.

Жизнь проходит давно то в борьбе, то в мольбе:
– Боже, смилуйся!..
В непонятной моей, непутёвой судьбе
Больше минусов.

Поздороваться руку никто не подаст,
А поморщится...
Но найдётся бумага, а с ней карандаш
Мне для творчества.

Рассуждения отрывочны. Мысли в тетрадь
Я копирую.
Быт, о коем не стоит мечтать и писать,
Абстрагирую.

Звёзды рядом друг с другом и, кажется, слиплись,
Собираясь в нависший сияющий слиток.
До рассвета нам небо их под ноги сыплет,
Пропуская одну за другой через сито.
Вот и утро. И солнце ступает по выси –
По безлюдной пустыне горбатым верблюдом.
А в колодце, где стены сырые и в слизи,
Днём хоронятся звёзды невиданным чудом.
Им в прохладе колодца до ночи томиться,
Пить студёную воду – не в мире огромном...
И ведёрком мы черпаем эту водицу.
Звонко звякают звёзды на донце ведёрном.

* * *

Континенты попутал морской муссон,
Неожиданным мощным шквалом,
Как фигуры в музее мадам Тюссо,
Облака разметал по залам.

Силуэты меняют. Скорей взгляни:
Сколько в царских особах лоска!..
Кем старательно вылеплены они
Из нагретого солнцем воска?..

По паркету небесному вдаль скользя,
Незаметно растаять могут.
Подойти бы поближе чуть-чуть – нельзя
Экспонаты в музее трогать...

Автономия

Новый день без оглядки назад
Протестирован,
Намалёван, как «Чёрный квадрат»,
Абстрагирован.

От друзей не дождавшись звонка,
Приспособилась.
Им, живя от пинка до пинка,
Уподобилась.

Закричись хоть – глухая стена.
И не хвастаю:
Я без них совершенно одна
Ныне здравствую.

И скупа на улыбку и смех:
Экономия.
Машинально закрылась от всех.
Автономия...

* * *

Не решить проблем? Подожди, приляг...
И в прострации
Выход есть всегда: дорогой коньяк
От фрустрации.

От рождения человек один,
Изолирован.
И, куда не кинь, всюду будет клин.
Игнорирован...

Кто к тебе в хандре в душу бы не лез,
Не навяжется.
Каждый день несёт новый скрытый стресс.
Или кажется?..

Удаётся с ним справиться пока:
Мы настырные.
Но всё чаще жизнь после сорока
На пустырнике.

Дни сурка

Дни стандартны, похожи один на другой –
Как сурковые,
И невидимо связаны между собой,
Бестолковые.

Не меняется мир, ярким светом залит.
Мы как роботы...
То, что было вчера, завтра вновь предстоит
Всем попробовать:

У камина с утра пить сухое вино,
В плед закутаться,
И в отрезке отмеренном нам временном
Вечно путаться...

Безразлично встречать вереницы недель
И, несведущим,
Бесконечно гадать: это прожитый день
Или следующий?..

Инна МОЛЧАНОВА

Склонение по маме

*(Памяти моей мамы, Лилии Николаевны Пух,
умершей от рака 2-го сентября 2005 года)*

Именительный

Что мы оставим памяти:
дом под ореховой крышею,
мальвы на скошенной пажити,
иволги песню неслышную,
плат, закруживший узорами,
ниткой тревожною вязаный?..

Жаль... но метель беспризорная
черной гадалкой предсказана.

Вьющейся томною ленточкой
жизнь, словно речка весенняя,
схлынет..., останутся веточки
вербной поры воскресения.

И ледяную с топазами
мальчик без роду и племени
горстку конфет ткнет за пазуху
с холмика с обозначением:
«Здесь упокоилась Лилия
с миром, земля будет Пухом ей...».

Плачет береза в бессилии
сгорбленной белой старухой...

Родительный

Мама ушла... Осень рано
грузди посыпала солью.
Тризны сентябрьских сопрано,
песня «Рябины» в застолье...

Словно неведомый странник,
бродит душа моя нищей
там, где заоблачный всадник
гладит рукой пепелища,

где перелетною птицей
мама, прощаясь навечно,
мне обещала присниться
в хатке над белою речкой,

где под «антоновкой» старой
куры в насест превратили
шапку-ушанку..., и пара
пела о русской рябине...

Пела, как в старости кроткой
вишня грустила, стекая
сладким рубиновым соком
прямо на крышу сарая...

Пели «Цикады» и «Вьюгу»,
пели на зависть дуэтом
мама и папа..., и руки
он целовал ей при этом...

Мама! Зачем же так скоро
в этот поток телефонный
самую главную ссору
ты продышала неровно?

Самую важную новость
ты сообщить мне забыла:
то, что сентябрьская полость
взорвана... где-то... могилой...

Дательный

Я отложила эту боль
до завтра... нет... до послезавтра...
Давай, поговорим с тобой...
– Ты знаешь, смерть всегда внезапна...
– Как жизнь, где тысячи огней
несут дары Святого Эльма
на мачты древних кораблей?..
– Ты знаешь, жизнь всегда мгновенна...
– Как смерть?..
– Нет, та бывает зла,
бывает долгой и упрямой...
я столько дней её звала...
– Мы не пускали ее, мама...
– Я столько лет боялась тьмы,
боялась черноты сугробов,
боялась белой тишины,
которая коварна... чтобы
подкрасться тихо, не дыша,
сады дождям доверить слепо...
А вот теперь моя душа
зовет ее... Я вижу слепок
Его ступни... на дальний холм,
что в озарении лучистом
Он был однажды возвращен
в тот Божий дом... прозрачный, чистый,
где так покойно, как во сне,
и детства неподкупный голос...
И что-то сладкое во мне
растет, уходит в тонкий волос

небесной гривы золотой,
потом – в спираль... Легко и дивно
струюсь... и чувствую покой...
И смерть... люблю... уже – взаимно...

Винительный

Что ж ты наделала... Так вот... и просто...
жизни моей не проросшее просо –
в тень, где не выжить и стойкой рассаде...
Боже, в каком же ты строгом наряде!

Где ты?... Ищу... но сегодня – туманы
эхо сварили в березовой манне.
Мама... зачем?... Я кричу от досады!
Разве так можно? По всходам – и градом?..
Что ты наделала? Как так случилось?..

Знаешь, а осень вдруг словно взбесилась,
бабьим теплом прокатилась по саду...
Мама... Не я с тобой... там, за оградой...

Знаешь, с сестрой мы в звонках ежечасных
плакали медленно... словно от счастья...
плакали сдержанно, словно с рассветом
снова подымешь ты кухни секреты,
снова пирог... или запах «глаголей»...

Мама... зачем?... Мне так тесно от боли!
Я так давно различать разучилась
лица беды... Мама... что-то случилось?..

Творительный

Мне стало за тебя спокойно
в оранжеее книг и писем.
А прежде было очень больно
при слове «мама», оттого,

что много лет мой голубь белый,
предпочитая только выси,
не опускал крыло на землю,
где «крыша дома моего».

Мне стало за себя спокойней:
уже не нужно пересолов,
уже не требуется сонной
обид расчерчивать круги.

За много лет мой голубь белый
насобирал церковных звонов
и, запекая туч просвиры,
пустил полнеба на торги...

Предложный

Завернусь в одиночество странного серого сна.
В разноцветное детство уже не уйти босиком
по траве-мураве, где под гимн просыпалась страна,
и какую-то «Правду» в подъезд приносил почтальон,
где субботами мама сажала за праздничный стол,
и сердился отец, если кто-то посмел опоздать...
Кременчугский залив от цветения был как рассол,
а горячий песок заставлял до воды танцевать,

где над Росью всходил кипяченный в лазури рассвет,
красноперые рыбки клевали в минуту до ста,
и мальчишка смешной подставлял под грозу табурет,
дотянуться мечтая до радуги, как до моста...

Завернусь в одиночество серо-пуховой тоски.
Под альбомною замшей спрессованы годы потерь.
Серебрятся пылинки, сплетая лучи в волосы,
что проникли сквозь холст... с очагом, маскирующим дверь.

Маргарита ИСАКОВА

«Наш папка лучше всех!»

Второй день отец пил. Пил он, как водится, запоем, поэтому второй день был лишь началом хмельного безумия. «Валентин-то опять чудит, – вздыхали замшелые старушки на завалинке, глядя на проходящего мимо шаткой походкой соседа. И, помолчав, строили догадки: «А ить он к Мишке Тельному направился, тот тожеть третий день не просыхат... И как тока им эта водка в глотку лезет? – Потом ещё раз сокрушались: – Лезет, видать... Ишо срок не подоспел».

Подоив корову, тридцатилетняя Зоя, жена Валентина, как частенько бывало, сварила яичную лапшу на молоке. Сыновья Димка и Серёжка, десяти и семи лет, набегавшись за день, так проголодались, что со зверским аппетитом умяли по две тарелки сытной и полезной еды. «Фу-у, вкуснятина!» – выговорил младший из братьев, положив ложку на стол.

Поздно вечером, так и не дождавшись отца, легли спать втроем на одной кровати: Зоя с краю, а ребята у стенки.

Сладко посапывая, они видели уже десятый сон, когда ночной покой разбудил властный стук в дверь:

– Уснули?!

Жена встрепенулась – муж опять пришёл пьяный: «Господи, да когда же это кончится!» Открыла – сразу пахнуло самогонным перегаром.

– Что, спишь? Сейчас поговорим... – угрожающе пообещал Валентин.

– Не шуми, ребята спят. Завтра на трезвую голову будем разговаривать.

– Завтра – будет завтра, – зашагал в дом Валентин.

– Пойдем укладываться... – Зоя всегда пытались таким образом уговорить нетрезвого мужа, уложив спать без скандала. Удавалось это редко: с пьяным было трудно справиться, тем более внушить ему простую истину: утро вечера мудренее.

И на этот раз Валентин стал придирается к жене, припоминать, кому из мужиков-покупателей она посмела улыбнуться, с кем остановилась переброситься словом-другим на училище... Заканчивалась экзекуция, как правило, рукоприкладством. Этот момент был самым страшным для мальчишек. Сонные, они вскакивали с постели, в голос ревели, висли у отца на руках, уговаривая его: «Папа, папочка, не надо!» Но отец легко, как котят, отшвыривал сыновей в сторону и продолжал беспощадно орудовать кулаками.

Во время сегодняшнего избиения Зоя лишь умоляла:

– Валентин, Валентин... Не бей... Дети смотрят...

Димка даже схватил стул и хотел ударить им отца, но побоялся ударить со всей силы, и стул лишь не больно «погладил» отцовскую голову. Еще несколько раз парнишка замахивался и каждый раз не причинял вреда большой, как у быка, голове отца. Да тот и не обращал на сына никакого внимания.

Наконец Валентин устал и завалился на диван. Но не прошло и десяти минут, как снова поднялся. Еще с час он ходил по дому, разговаривал сам с собой, продолжал угрожать расправой жене. Зоя с детьми, забившись в угол на кровати, плакали, пока дебошир не утомился. Ближе к часу ночи Валентин все же забылся сном, дав уснуть своим домочадцам, а спозаранку ушёл «собирать рюмки».

Зоя, управившись по хозяйству, ушла на работу – магазин, где она была продавцом, открывался в девять утра. На электроплитке ребятишек ждала поджаренная на большой чугунной сковороде молодая картошка с ошурками.

День занимался ясным и обещал быть солнечным. На исходе стоял август.

Братья проснулись позднее обычного. Сквозь утреннее пробуждение вспомнили, что еще не кончились каникулы, а значит, не надо идти в школу. Им ужасно нравилось это беззаботное ощущение! К тому же кошмар прошедшей ночи отошел для ребят на второй план. Впереди был хлопотливо-радостный день.

После завтрака Димка вслух составил план действий на день. Сначала нужно было сходить к двоюродному брату Гришке и забрать у него рыжего котёнка, которого они полюбили за игривость и вчера сменяли на шариковую четырёхцветную ручку. У родителей, правда, разрешения забыли спросить, надеясь, что те и так не будут против появления в доме такого милого котёночка. А потом...

– А потом, – при следующих словах у Димки от радости зажглись огоньки в глазах, он заерзал на стуле, – будем утеплять землянку.

Еще весной пацанов села Ключи охватила страсть: рыть землянки, как в войну у партизан. Позднее они старались оборудовать их: земляные стены обивали досками, сколачивали деревянный стол и одноярусные нары, служившие и постелью, и лавками. Имелись даже про запас керосин и сухари. И самое удивительное было не то, что землянки рылись почти на задах каждого огорода, хотя у некоторых были и в лесу, а то, что деревенские мальчишки строили их не только для игр в войну. Хотелось вести свою, скрытую от взрослых глаз жизнь. В таком необычном уединении была своя романтика! Ребятишкам нравилось, когда вздумается, забираться в свои земляные норы и рассуждать о разных явлениях окружающего мира, рассказывать жуткие истории – о злополучной «си-ней руке», пирогах с мясом, в которых, случалось, попадались человеческие ногти, и прочих кошмарах.

С помощью двух школьных друзей свою землянку Димка с Серёжкой вырыли сразу после окончания учебного года. Правда была она маленькой по сравнению с другими, зато в ней существовал удобный вход: не через верхний люк, а по вырытым в земле ступенькам. Роскошью считалось, если в земляном пристанище имелась железная печурка. Сегодня братья хотели поставить такую же и в своей обители, ведь не за горами осенние заморозки. А травить анекдоты и увлекать собравшихся замысловатыми историями вольготно только в тепле.

Работа предстояла большая: привезти с совхозной металлосвалки на старой детской коляске печку, которую братья присмотрели накануне, установить её в землянке, проделать отверстие для вывода трубы наверх. После всего этого предстояло самое долгожданное и приятное – растопить печь сухими поленьями с помощью принесенной заранее лучины.

Пацаны быстро сбежали за котёнком, налили ему молока в блюдце и собрались уже бежать на металлосвалку, как в дом ввалился изрядно подвыпивший отец.

– Куда это собрались? – с трудом выговаривая слова, поинтересовался он.

– Печку в землянке будем ставить, – наивно признался Серёжка.

– Каку-таку печку? – не понимал отец.

– Железную, – пояснил Димка.

– Сидите дома! Я вам покажу такую печку, что ставить не захочете...

Спорить с нетрезвым отцом было бесполезно. Напротив, чем дальше в спор, тем больше неприятностей. Эту истину Димка с Серёжкой усвоили накрепко.

Валентин стал шариться по дому. Похоже, спрятал где-то бутылку и забыл, где именно. Он шумно открывал створки кухонного шкафа, шифоньера, но, ничего не найдя, со злостью закрывал их обратно. Тут-то он и запнулся о котёнка, доверчиво жавшегося к его ноге.

– Откуда кошка?! – взревел он.

– Мы с Серёжкой от Зубаревых принесли. У них Маня окотилась, один котёнок был лишний. Будет мышей у нас в подполье ловить, – чувствуя недобрый настрой отца, пытался объяснить Димка.

– Чтоб сейчас же его здесь не было! – прикрикнул на сыновей Валентин. – Ещё по столу всякая тварь не пакостила. Выбросьте!

– Пап, ну он же нам не мешает. Пап... – еще надеялся уговорить отца Димка.

– Пап... – подхватил Серёжка.

В следующее мгновение случилось чудовищное. Валентин схватил за задние лапы котёнка и потащил его из избы.

Выбежавшие в сени мальчишки, словно заворожённые, с расширенными от ужаса глазами, увидели, как отец забежал под навес и несколько раз со всего маху ударил котёнка головой об лежащую на попе огромную чурку. Затем бросил несчастное животное посреди ограды, сплюнул и, тяжело дыша, направился в избу.

Первым опомнился Серёжка. Он подбежал к окровавленному, корчащемуся в предсмертных судорогах котёнку и схватил его на руки.

– Рыжик... Рыжик... что с тобой? А? Миленький мой, хорошенький... А–а – а! – ребенок зарыдал.

– Брось его! Брось! Он умрет сейчас! – Димка боялся подойти ближе. Ему казалось, что живой еще котенок вцепится в него когтями и не отпустит. Он только умолял своего братишку: – Серёженька, нельзя его теперь держать на руках. Пойдем в огород, положим у забора.

Ворота отворились, вбежала испуганная мать:

– Что?! Что такое?

Сбивчиво, сквозь слезы, ребяташки рассказали о случившемся.

Сыновья хотели было идти за ней, чтобы в случае чего защищать мать, но она не пустила их, велела ждать на крыльце.

В доме началась ругань. Слышно было, как Зоя стыдила Валентина, пытаясь хоть немного его образумить. Иногда доносилось отцовское:

– Убью! Застрелю всех!

Эти угрозы Димка с Серёжкой слышали много раз, и каждый раз слова «убью», «застрелю» пугали их. Была причина бояться. У отца действительно был доставшийся ему от охотника-фронтовика карабин, который он держал якобы для охоты. На самом деле оружие давно бездействовало. Правда, в молодости Валентин слыл заядлым добытчиком дикого мяса.

Теперь же злосчастное ружье стало предметом опасности. Зоя постоянно прятала карабин, но, помирившись с мужем, под его нажимом возвращала обратно.

Через несколько минут с отчаянным криком в ограду выбежала Зоя. За ней с ножом гнался Валентин. Женщина только успела ворота за собой захлопнуть. Пацанов как ветром сдуло в огород. Убежав на зады, мальчишки отдышались. Во время побега Серёжка где-то выронил котенка.

– Ладно, потом найдем и похороним, – рассудил старший из братьев. – Папка опять не пустит домой ночевать, будет грозиться мамку застрелить, надо что-то делать, – переживал Димка. Серёжка согласно ему кивал. – У Зубаревых уже два раза ночевали, у бабушки Вали – бессчетно. Фашист несчастный! – сказав последние слова, он задумался: а кто же на самом деле его отец? Подумал и пришел к выводу – сволочь.

С малых лет, как только помнят себя, дети были свидетелями постоянных скандалов в доме. Отец частенько приходил пьяным, особенно после получки, когда деревенские мужики после работы оставались в гараже и обмывали очередную зарплату. Если кто-нибудь отказывался от выпивки вскладчину и нес деньги жене, его тут же обзывали подкаблучником. Нередко Зоя с ребятами уходила жить к своей матери. Однажды они, казалось, уже ушли навсегда, Зоя даже решила подавать на развод. И только собралась отнести заявление в сельсовет, как накануне вечером появился трезвым Валентин, встал перед женой на колени и стал просить прощения. Долго умолял её и ребяташек вернуться домой. Мать Зои даже прослезилась: «Может, мужик за ум взялся, вернулись бы, начали все по-новому». Зоя уступила. И жизнь потекла по-старому.

...Первое, что пришло на ум: спрятать карабин. Димка знал, что он хранится на чердаке, завернутый в мешковину. Дело было серьёзным, поэтому за его выполнение взялся один. Серёжку он оставил караулить внизу, чтобы отец не застал врасплох.

Подкравшись к избе с огорода, чтобы отец не смог заметить в окно, если что, Димка ловко вскарабкался по углу сруба на крышу, осторожно спустился на карниз, преодолел несколько метров по нему и добрался до чердачной дверцы.

Сообразив, где надо искать карабин, стал разгребать землю за кирпичной трубой. Нашёл. Осторожно развернув мешковину, взял в руки оружие, ощутив его холодную тяжесть. Сердце забилося сильнее. Мальчишка вдруг испугался от мысли, что карабин может сейчас случайно выстрелить. Вспомнил, что такое же вот волнение испытывал, когда отец чистил оружие: дуло иногда случайно наводилось на Димку, и он тотчас же старался скорее уйти в сторону, хотя и знал, что карабин не заряжен.

Обратно Димка спустился тем же путем, подобрал брошенный в картофельную ботву ружье, и вместе с братом они помчались в березняк, что располагался сразу за огородом.

– Ну всё-ё, – перевел дух Димка, – теперь можно не бояться!.. Пусть хоть сколько грозит...

Карабин зарыли возле согнутой березы. Рядом похоронили и погибшего котёнка. Для большей маскировки подкатали и навалили на тайное место сосновую чурку. Оставшись довольными своей работой, присели отдохнуть. Вспомнили все пережитое сегодня.

Тем временем, убежав от разъяренного мужа, Зоя решила покончить с безобразием, творимым Валентином. Из сельсовета она позвонила в районную милицию (свой участковый находился в отъезде) и объяснила дежурному, в чем дело, сообщив и про неучтенный карабин. В телефонную трубку услышала ответ:

– Ждите. Приедем и разберёмся.

Ждать пришлось долго, милицейский «бобик» появился в селе только к вечеру.

День шел к закату.

Железной печки на совхозной металлосвалке уже не оказалось: кто-то опередил братьев, пожалевших, что сразу не

забрали такую полезную «вещь». «И чего до выходных ждали?!» – сокрушался Димка. Рассудили, что надо искать в другом месте. А вот где? Зашли на территорию гаража, порыскали по дальним углам. Пусто. Послonyaвшись по деревне, братья проголодались и направились к дому, решив, что отец ушел куда-нибудь куражиться дальше. Однако к дому подходили с опаской. К счастью, не было случая, чтобы отец на них руку поднимал, но кто знает, что ему взбредёт на ум по пьяной лавочке. Возле дома увидели милицейскую машину.

– За папкой, наверное? – переглянулись пацаны. Подошли ближе. У ворот топтались сестры Валентина, его мать, любопытные односельчане. Родня в один голос ругала Зою: и не хозяйка-то она, и мужу изменяет и... Словом, всё собрали – своя-то рубашка ближе к телу. Соседи помалкивали, ведь трезвый Валентин был хозяйственным и приветливым мужчином, а что в семье происходит – пойдй разберись, в каждой избушке свои погремушки.

Пацаны прошмыгнули в дом. В большой комнате за столом сидел пожилой милиционер, видимо, старший по званию, напротив – Валентин. Прислонившись спиной к кирпичной печке, стояла Зоя. Шёл самый разгар спора: кто же виноват в том, что Валентин пьёт? Сам он доказывал, что делает это с горя – жена ему изменяет. А с кем именно, он не разбирался. Зоя стыдила мужа: заливает он без причины и держат его в совхозе потому, что работать больше некому, и жить им спокойно не дает, детей пугает. Рассказ жены прерывался руганью мужа, и всякий раз его останавливал с виду безучастный к происходящему милиционер.

– Это он с армии стал пить, – продолжала Зоя. – Спирт там возил, вот и избаловался.

– Ты где служил? – спросил Валентина милиционер.

– В Анадыре, к самолетам авиационный бензин подвозил. А спиртом нас техники угощали иногда.

– А отец твой живой?

– Нет, на Курской дуге в танке сгорел.

– Это что же получается: отец твой героем погиб, а ты с бабами воюешь. Сгоришь же от водки!

– Сгорю – не ваше дело, – огрызнулся Валентин.

– «Не ваше дело», – передразнил милиционер. – Сыновей опять же пугаешь... Котёнок тебе чем помешал?

– Какой еще котёнок?

– Которого ты на глазах детей об чурку убил.

– Я?

– Ты!

– Не помнишь? Или память совсем отшибло? – вставила Зоя.

– Не помню.

– У него уже белая горячка, – констатировала Зоя. Валентин промолчал.

Представитель власти повернулся в сторону притихших мальчишек:

– Что, сильно пьёт папка? Мамку обижает?

Те разом кивнули. Валентин не сказал, а простонал:

– И вы туда же... Дети, что с вас возьмёшь. Вот подрастете, поймёте, что папка правду говорил.

– Подрастут и спросят с тебя, если дальше не образумишься, – милиционер сказал так мудро, что Валентину нечего было ответить.

– Вы забирать его будете? Хоть в вытрезвитель увезите! – настаивала Зоя.

– Заберем, но сначала разберёмся с незаконно хранящимся карабином. Где прячешь? – строго спросил у Валентина милиционер.

– Нет у меня никакого карабина, – буркнул Валентин.

– На чердаке лежит, за трубой, я покажу, – Зоя была настроена решительно.

– Не надо, сейчас сами посмотрим. Олег! – позвал он из сеник напарника. – Слазь на дом, посмотри за трубой карабин! И обратился к Димке с братом: – Покажите ему, ребята, где там у вас лестница.

Мальчишки переглянулись и пошли показывать. По дороге Димка успел шепнуть Серёжке: «Молчим пока».

Поиски оружия ничего не дали. Пожилой милиционер спросил у пацанов, не знают ли они об оружии отца? Те отрицательно помотали головами. Зоя тоже не могла понять, куда делся карабин.

Настало время забирать Валентина в отделение.

– Пока пройдемте в машину, гражданин Большешапов, а к оружию мы еще вернёмся, вот вернётся ваш участковый и разберется по всей строгости закона. Спросит!

– Нечего спрашивать – не было у меня карабина, – осмелел Валентин, хмель словно рукой сняло. Он нехотя поднялся, первым направился к выходу, за ним – милиционеры. Едва все появились за воротами, как сестры запричитали, будто их брата уже осудили и увозили в заключение. Мать кинулась к сыну, заголосила: «Ой, куда ж тебя ведут, сыночек!»

– Граждане, пропустите! Мамаша, дайте пройти, – призывал к порядку старший по званию милиционер.

Тут и Валентина словно кипятком ошпарили! Он начал упираться, не полез в «бобик» сам, а когда его хотели втолкнуть, то без труда раскидал милиционеров в стороны – силы-то дурацкой бог дал на троих – и рванулся к воротам, где стояла Зоя:

– Убью!

Милиционеры вовремя скрутили ему руки, начали снова заталкивать в машину. Зоя от греха подальше ушла в дом. За ней бросилась одна из сестер Валентина. Димка заметил этот маневр и побежал следом. Еще на пороге увидел, как тётка вцепилась в мать и тащила её к выходу, приговаривая:

– Вместе с ним поедешь! Вместе!

Сообразив, что надо спасать мать, мальчишка бросился к тётке и повис у неё на шее:

– Пустите маму! Пустите, тётя Шура!

Лишь на мгновенье та ослабила тиски, отталкивая племянника, но этого было достаточно, чтобы Зоя, изловчившись,

вытолкала её в сени, закрывшись на крючок. Сестра Валентина еще зло постучала в дверь и ушла ни с чем.

В окно Зоя с Димкой увидели, как милицейская машина сворачивала в проулок, а потом скрылась за поворотом.

– Мама, его навсегда забрали или отпустят?

...Глубокая ночь, а Димка все никак не может заснуть. Он ворочается с боку на бок, а притихнув, беззвучно плачет. События прошедшего дня все ещё гулко отдаются в висках. Временами вздрагивает во сне и начинает хныкать Серёжка. Тогда мать прижимает его к себе, успокаивает, глядя по голове:

– Я здесь... С тобой.... Спи, сынок.

Ветер постукивает ставнями о бревна избы. Димка замирает: уж не отец ли стучится? Потом успокаивается, вспомнив, что он сейчас в милиции и никто его оттуда не выпустит. «Если посадят, то хоть ночью спокойно спать будем. Ну, папая, вырасту – берегись тогда. Ладно, спать надо. Завтра только понедельник, надо ещё где-то печку найти, а то зимой в землянке в холоде останемся...»

Через пятнадцать суток отец вернулся домой и вел трезвый образ жизни целых десять месяцев. За это время он достроил подвал, соорудил коптильню, отремонтировал крышу поветей, съездил с сыновьями на рыбалку. Димка с Серёжкой нарадоваться не могли, им не верилось, что отец так изменился, стал добрым и заботливым. Встречаясь с другими деревенскими мальчишками, они гордо заявляли: «Наш папка лучше всех!» Конечно, они простили его за котёнка и, не выдержав, показали отцу, где спрятали карабин. Валентин пообещал взять их зимой на охоту...

Господи! Оборони от зла детские души, не сделай их черствыми, направь на добрые дела.

Иркутск 1977 – Братск 2022

Ольга КОРЕПАНОВА

Во рту застряла последняя буква...

Трафаретная банальность бытия,
повторяются картинки жития.
Повседневная и «беличья игра»:
одинаковый рисунок – суета.

Монотонная дорога, беготня,
алгоритма ритм: туда-сюда.
Однотипные фигурки – маста –
их стандартное клише – похожая судьба.

Схема жизни человека такова:
посадить дерЕвце или два
да найти любимую жену
и родить дублёра-двойника –
...копию любимого себя.

Графика художника – скупа,
арифметика проста как дважды два:
на рассвете крикнуть
громким криком: «а-а-А»,
на закате –
тихим звуком: «Я-я-я»...
...«прошелестеть»...

Схематичная программа бытия:
путь пройти от «А» до «Я»,
появиться с буквой «а-а-А»
во рту,
а растаять – с буквой: «Я-я-я»...

Воздушные шары – Луна и Солнце

Летят, летят воздушные шары,
воздушные шары: Луна и Солнце.
И радуются небу, синеве,
Земле и сущему всему в пространстве.

Парят, парят прозрачные шары:
серебряный и златоокий.
Парят, парят фонарики-огни:
жемчужный и янтарно-зоркий.

Летят, летят воздушные мячи,
висят на небе шарики: Луна и Солнце.
И радуются им лазурный небосвод
и сущее, живущее в пространстве.

Портрет берёзки, автопортрет деревца

На дороге тень лежит,
загорает, нежится на Солнце.
Тонкострунные плетения парят,
нити-вети, линии – деревце.

Ветр качается туда-сюда,
ветр качается на веточках берёзки.
Паутинка, сеточка – кач-кач
иль дрожание ускользящей вуальки.

То не тень, а контурный портрет,
то не тень – автопортрет берёзки.
То не тень, а чёрно-серый силуэт
иль изображение, кадр фотоплёнки.

Мастерски рисует день за днём,
повторяет очертания тела.
Экзерсисы – силуэт-фантом,
упражняется художница-невеста.

Изучает цвет лица, кору, глаза,
позитив иль негатив, берёзо-форму.
Словно смотрит в зеркальце она,
изучает копию, дублёршу.

Оконтуривает стан свой, ствол, листву,
контражурные и плоские рисунки.
Чертит карандашиком черты,
обрисовывает белоснежную фигуру.

Даже плановость изображает тонкая рука,
первый – яркий, чёткий, резкий, тёмный.
А второй – слабее; графика нежна,
третий – легче, тоньше, повоздушной...

На дороге тень лежит,
загорает, нежится на Солнце.
То не тень, а супер-графика парит,
то картина, профиль иль портрет берёзки...

Похолодало, потемнело, ночерело

Подглядывала ночь сквозь веточки сирени,
подглядывала в окна синими зрачками.
Похолодало, потемнело, ночерело,
собаки лаяли иль огрызались: «АВЫ».

Огрызки фраз, собачьих междометий
в подкорке резко, рвано застревали.
А где-то статуя промокшая стояла,
стояла в парке, мёрзла и дрожала.

Одна, средь мрачной темноты – нагая,
мечтала вырваться из каменного плена,
и убежать в «тепло-светло», в хоромы гомо,
и спрятаться, и спрятаться под одеяло.

Лил дождь – безостановочно дождало,
без остановки «дождь дождал» – без перерыва
(без передышки и без отдыха, неугомонно)...
На небе синем видно кран прорвало,
вода, похоже, решето – изрешетила.

И даже ветер бесстрашный – испугался,
забился в угол дальний и не шевелился.
Похолодало. Потемнело...Ночерело.
Заморосило. Задождало...Заветрило...

Беруши сняла Тишина

Ночь улетучилась. Утро,
рассвет заглянул в глаза.
Розовая полоска,
беруши сняла Тишина.

И приготовилась слушать
звуки движения дня.
Мечтательная занавеска
порхала туда и сюда.

А лежебока-подушка
отлёживала бока.
А на полу лежала
рама – квадрат – от окна.

Оранжевая картина –
солнечное письмецо.
Тёплая крестовина,
прохлада, свечения пора.

«Бутылочные осколки»,
«бутылочное стекло» –
зелёная тень. Танцевала
берилловый танец листва.

Контрастная плоть играла
в игру под названием Весна.
«Бутылочные осколки»...
Светилась покоем душа.

Завернулось в лист Мёбиуса Небо

Завернулось в лист Мёбиуса Небо:
нёбо неба и зева зов.
Не зевает холодное небо,
а всё время смотрит TV.

А TV – это жизнь человечья
цвета будней иль цвета ч/б.:
черно-белая жизнь человечья,
черно-белое есмь или неть.

Завернулось в лист Мёбиуса Небо:
нёбо неба и зева зов.
Завернулось, как в одеяло,
чтобы было тепло-претепло...

И лежит бесконечной восьмёркой –
цвета вечности, цвета любви.
Смотрит целыми днями бесплатно,
безбилетно – кино, синема.

Смотрит облачными глазами
цвета воздуха, цвета тоски
на житьё-бытьё цвета будней –
муравьиную суету.

И мечтает сменить телевизор
с чёрно-белого – на цветной.
И мечтает сменить срок гарантий
всех землян – на большой-пребольшой.

Гвоздики-дожди

Забивает гвоздики ветер в землю: тук-тук.
молоточки часиков повторяют звук.
Прибивает жидкие гвозди ветерок,
гвозди стекловидные видно там и тут...

Гвоздики иль дожди, капельки, дожди
нитевидно падают и звенят штрихи.
Время ненавязчиво такает: так-так,
в такт звенят сосульки, струны дребезжат.

Шторы волокнистые, линии дрожат,
строчки серебристые песенки поют.
Забивает жидкие гвозди ветерок,
дождик отбивает танец громкий степ.
Стоп...

Татьяна Безридная

Молитвы дилетанта 3, или предновогоднее

Что-то менялось. Стремилось. Боялось.
Господи, только б в упор не стрелялось,
не разрушалось, не ранилось насмерть...
Видишь, дворы наши – снежная скатерть,
окна которую скоро расцветят,
люди обнимутся, встретят, отметят
каждый свой Новый в предчувствиях год
и предвкушениях радостных. Вот
странное время итогов и не...
Боже, склони Свое ухо ко мне:
шепотом – верую, но помоги мне
слышать Тебя и в торжественном гимне,
и в панихиде, в хвале и хуле.
Господи, дай нам ходить по земле,
знать, что любимые живы-здоровы,
и не остави без теплого крова
этой зимой никого, никого,
и сбереги у огня Своего –
всех, кто надеется и уповает...

Дай нам поверить, что Чудо – бывает.

Я – возвращенная с чувством вины
на обломках великой страны,
что уже не отыщешь на картах...
Только грязь, нищету и позор
здесь встречает печальный мой взор:
вон сидят наркоманы на кортах,
вон старуха со стаей собак,
заглянувшая в мусорный бак
под мажорные гимна аккорды,
что гремят посреди городка,
долженствуя понятию «тоска»
дать как бомжу убогому в морду...
Здесь убиты и совесть, и честь,
погорельцам дают то, что есть –
ни шиша, выражаясь короче,
продавая за евро и рупь
газ и нефть из глубин наших руд, –
все гори синим пламенем, впрочем...
Как сгорают в пожарах леса
(снова черная вдоль полоса
от дороги по сопкам и склонам).
Что имеем, давно не храним,
в пух и прах разоренные в дым
разодетым младенцам седым
говорим: «Ну, пойдем поглядим –
снова цирк, дрессировщики, клоун...»

Я отказалась быть на этом берегу,
но берег тот меня к себе не принимает,
он карты алый крап из шляпы вынимает,
внимательно следя – а вдруг не убегу
от грохота огня, взорвавшего покой.
Оно тебе на кой, сиделки вопрошают.
Ответы никого из нас не воскрешают –
с Мессией или без, тем более меня.
И, выбирая плыть на облаке густом,
Титаником под лед под марши побравурней,
под лай бродячих псов вокруг всеобщей урны
пора вернуть долги. За доллар или сто
тебе доставят все, что выбирал не ты,
что захотел сожрать
твой жадный мозг рептильный:
ныряя в здесь, сейчас, Ве Нарру и на стиле
спасенные бегут в объятья пустоты.

Никите Ноянову

Станешь еще более настоящим,
прежде чем сыграется в долгий ящик,
прежде чем чужие раздать долги.
Песенки и строчки – пожалуй, лучше,
чем невыносимо собою мучась,
вдруг понять, что днем как на дне – ни зги.
Тишина цепляет за междометья,
Бог тебя когда-то давно пометил,
так что хоть беги, хоть куда беги –
не отменишь милости этой царской,
не заменишь новой забавной цацкой –
просто помоги Ему. Помоги.

Вся эта музыка, весь этот свет
еще останутся, но мы-то – нет.

Ныряй во времени, лови слова,
младому племени передавай.

Они по гаджетам (из уст в уста!)
найдут, что песенка не так проста:

скупые строчки все и все стихи –
из вечной хроники времен лихих.

Ведовство, а затем колдунство –
строчки в колбе души смешать –
не дают помереть и сдуться.
Как ни прёт судьба, сокруша-

я хрустальные эти замки,
эти башенки из песка, –
строй же сызнова мир свой,
зайка, на угрюмый ее оскал

отвечая своей улыбкой –
ну, подумаешь, ерунда!
Ты сама Золотая, рыбка,
эта жизнь для тебя – вода,

вскипяти ее, выпей кофе,
маме памперс замени...
сочини роман о Голгофе:
как там дышится в наши дни.

Не ходи на улицу – там война.
Посиди дома, наряди кукол.
Смерть стучится в небесный купол,
но за окнами-то весна.

Обживать могилу не торопись,
ни окопчик ли, ни траншею...
Травы прут сквозь трупы, и, хорошея,
врет экранная летопись.

Видишь, ранят бумагу твои слова,
потому что, Господи, как иначе?
Просыпаешься, молишься или плачешь –
потому что еще жива.

памяти Паолы Волковой

Глаголь добро: есть русский алфавит,
и он стихом тебя благословит,
подобно Богу (Бог и есть, не мене!).
Стихи слагать, покуда живу быть –
так на скрижалях солнечной судьбы
записано твоей. Забудь сомненья,
в которых вправду очень тяжело,
но чья-то безмятежность, на чело
спустившаяся, вон ведет из тени
тебя на свет, который больше чем
спасение твое, и утлый челн
есть только тема. Края нет у темы.

Я – некто творящий среди оголтелого быта:
сняла комнатуху (нашла вариант на Авито),
под взглядами бездны, меня окружающей всюду,
читаю, пишу... и стираю, и мою посуду,
рисую картинки – украсить свой быт немудрящий...
Соседи все громче глядят по утрам в зомбоящик,
я их понимаю (себя понимая все реже):
мой угол случаен, их угол – такой же медвежий...
Империя правит, контора, как водится, пишет...
Но кто вам признается в боли, за куревом вышел?
Бездомную псину снабдили и будкой, и миской,
и в миске похлебкой... не так-то и пали мы низко,
не так уж и низко мы пали, когда разобраться,
в углу тараканьем... Спасибо за Родину, братцы,
за пыльные книжки, за ваш матерок беззаботный
беззлобный («не, чисто для связки!»), за то, что свободна
ловить эти строчки ночами в тетрадке измятой,
азарт запивая крепчайшим с мелиссой и мятой
из тоненькой чашки китайской... А что до империй –
они обещают, конечно, но кто им поверит...

У границ Вселенной вахтеры,
охраняем усталый мир
от нашествия силы темной,
что куражится над детьми –
те пока еще пахнут Богом
(даже если здесь Бога нет)...
Набираемся сил в дорогу,
чтоб включить в Ойкумене свет.
Умираем, но не сдаемся.
Потому что если не мы,
то накроет больную Землю
мутной пеной зловонной тьмы.

Денис МЕДОВЩИКОВ

И наступила тишина.
Сквозит и воем отовсюду.
Сиротство белого двора —
Посмертный слепок пересуды.
В ней было громко, было всё:
Нелепость, быт, воспоминания,
На нет сошедшие стенания,
И камень, брошенный в стекло.
И этот двор, как чистый холст
Теперь.
А помнишь, мы бежали?
Смеялись, за руки держались.
И мир был полон, он был прост...
Ты помнишь, задыхались мы?
И перьями цепляли небо...
Я больше никогда там не был,
Оставшись на краю земли.
Я не умею отпускать.
Дверей не запирая на ночь,
Ложусь теперь я только навзничь,
Так проще тени узнавать.
Их в тишине совсем немного
В сиротстве белого двора.
В снегах всё тягостней дорога.
Какая долгая зима...
Какая тихая зима...
Какая громкая тревога.

Знать, что есть.
И от этого спать спокойно.
И от этого петь.
И терпеть всё стойко.
Не капризничать. Не лгать,
Не придумывать.
Не притворяться.
Не гнаться.
Не спутывать, видеть всё ясно.
Каждый миг. Каждый день.
Говорить всем, что я не один,
Что больше нас, чем я и моя тень.
Не называть твоё имя в толпе.
Но засыпать и просыпаться с ним.
И улыбаться, улыбаться всё чаще.
Казаться загадочным...
Бояться только одного, что всё закончится,
Что оборвётся всё и испортится.
Мне бы сургуч и канаты покрепче,
Запечатать чтобы, спрятать
В засекреченном месте...
Но не стану.
Неволя убийственна.
Я знаю, что ты есть.
У меня. Сейчас. Истина.

Разгляди во мне то,
что старательно прячу.
Что боюсь темноты,
что боюсь многих слов,
обязательств и уз,
обещаний и плача,
что мой дом из картона —

прохуdivшийся кров.
Рассмотри на ладони
пунктир этих линий.
Эта – было и будет.
Эта – встреча с тобой.
Эта – время, которое губит и судит,
и уходит с рассветом,
на губах только соль.
Остаются следы,
что похожи на копоть.
Ты их, как ни старайся,
никогда не сотрёшь.
Разгляди во мне боль,
стыд, обиду и похоть.
И смирись, и возьми,
и в застенках неволь...
Так надёжнее. Верь мне.
Даже птиц замыкают.
И от этого голос их будто сильнее,
потому, что пред адом они
понимают,
что последним быть может
каждый божеский день....

Выдумать и быть.
И верить,
Что счастье за дверью,
Что ждать его стоит.
Не идти напролом,
Не идти против ветра.
Не зажигать маяков.
Не вскрывать писем
И вен, когда больно.
Не быть откровенным.

Не делиться последним глотком.
Не звонить, когда гудки короткие.
Слыть равнодушным
И сдержанным. Удобным.
Выдумать и быть.
Соответствовать
Вместо того, чтобы наотмашь!
Чтобы до одури,
До синяков на запястье,
До сбитых от прогулок ног,
До курток, от дождя промокших,
До сюрпризов врасплах
И немоты потому, что говорил долго.
И немоты, что громче всяких слов.
Вот то, что истинно и нужно!
И вот в чём суть!
Просто. Но чертовски сложно... Порой...

И на дворе стоял январь
С ветрами, бьющими наотмашь.
Меж нами битву
Проиграл,
Я честь и совесть потерял...
Чернеет уж погоста распашь.
Меня к нему не понесут
Пока.
Минута созерцания!
Провалы глаз, лица овал.
Запомни!
Все запоминайте!
Заиндевелый, белый сплошь,
В снегу, что вскоре станет бурым,

Я кожей чувствую всю ложь,
Расчетливость твоей натуры.
Узнать пораньше бы,
Но нет!
Беспомощность моя желанна,
Неизлечима и гуманна.
Я был, я жил... как человек!..
Под вечер ветошь принесут,
Закутают в неё.
Что толку
Устраивать скандал и суд?
Январь. Ветра. Зима. Надолго...

Вадим СКВОРЦОВ

Красным по белому

По широкой по аллее
Сердце бешено стучит.
Может быть, преодолеем,
Может быть, перемолчим?..
Растревоженные птицы,
Голубые небеса...
Белоснежные страницы
Кто-то кровью исписал...
Красной вышивкой на белом,
На доверчивом листке
Расчертили землю мелом,
Снова жизнь на волоске.
Колокольным звоном эхо
Разлетелось — не догнать...
Растерзали ради смеха
Чью-то тонкую тетрадь.
Ненавидящие взгляды
Ненавидимых времён.
Завыванием снарядов
Новый день преодолен.
А у самого у горла
Шарит потная рука.
Птица крылья распростёрла
В молчаливых облаках.

Ночью

Под чёрным покрывалом ночи
Блаженство голубой прохлады.
Укрылись где-то между строчек
Мечтанья дремлющего сада.
Из вод светящихся струится
Томленье замка золотого.
Надежд знакомые страницы
Мы перелистываем снова.
Заветных слов переплетенье,
Узоры сладких многоточий...
Под крик сердечных повелений
Бежит к тебе мой резвый почерк.

Рак души

Здесь, над куском солёной тверди,
Узором звёздным манит высь.
Среди привычных звуков смерти
Ночная протекает жизнь.
Страшит надсадный вой снарядный,
Пустились пули в перепляс.
Во тьме, казалось, непроглядной
Огонь опять нащупал нас.
Чечёткой сыплют пулемёты,
Взмывает гейзером разрыв,
К земле прижалась разведрота –
Кто-то умолк, а кто-то жив...
Возносит Господу молитву
И, капли смахивая слёз,
Угомонить взывает битву:
– Спаси, будь милостив, Христос!
Потоки горестных рыданий
Всесильным взором иссуши...
И только боль воспоминаний –
Неизлечимый рак души.

Фактор облегчения

Тепло, уютно, душно, страшно...
Но путь, разбитый на отрезки,
Не стал короче. Долгий, дерзкий
Взгляд, выжигающий пространство,
Смягчается лишь встречным взглядом.
И сразу чувствуешь, что рядом
Забилось мирно чьё-то сердце.
Нет никаких обоснований,
Висков коснётся нежный ветер,
И волны сразу станут тише,
И возглас грубый поперхнётся,
И защебечут громко птицы...
Наверно, это только снится,
А может, просто кто-то умер...
Да, так и есть... Но где же слёзы?
Ведь их должно быть ровно столько,
Чтобы хватило оглянуться,
Пересчитать все чемоданы...
И в каждом что-то дорогое!
Но не по силам их поднять мне...
Кому-то, может, пригодятся...
Кому-то, может, станет легче
От этой тяжести чужого
Вконец измученного сердца.

Armand basi in red

Месяц повис коромыслом,
Сад утонул в тишине.
Бродят опасные мысли
В светлой твоей голове.
Льются из поднебесья
Отзвуки мирных бесед
И аромат, как песня,
Armand Basi In Red.
Двигается белое платье
В облаке летнего сна.
Музыка слов и объятья,
Будто вернулась весна.
Близится неизбежность,
Звёздный струится след,
И согревает нежность
Armand Basi In Red.

Дедушка и камень

На рассвете облака
Белоснежны и игривы.
Вдалеке течёт река,
И о чём-то шепчут ивы.
Ветер шёпот подхватил
И унёс в тайгу куда-то.
Дед-рыбак перекрестил
Серый камень в три обхвата.
Здесь когда-то вознеслись
В небо праведные души.
Мысли деда тянут ввысь,
Мудрость Божию послушать,
Чтобы дальше крест нести,
Оставаясь в Божьей власти.
— Помоги, Господь, спасти
Его душу от напастей!

Заботливая лень

Судьба во сне несётся вскачь,
Устали плечи от доспехов...
Лень бережёт от неудач
И ограждает от успехов.

Мера успеха

Не так уж много в жизни вех,
Но звёздных нам не счесть мерцаний.
Не измеряется успех
Мерой похвал и порицаний.

Твоя сущность

Хранишь во взгляде простодушность,
И в сердце много добрых качеств.
Раскрыть способна твою сущность
Лишь только сила обстоятельств.

Сергей Жариков

1960 — 2018

Поэт. Лауреат премии им. С. Иоффе (2004). Лауреат премии Иркутской областной литературной конференции «Молодость. Творчество. Современность». Один из инициаторов создания неформального литературного объединения – НЛО «Шклинда». Автор книг: «Волчий билет» (1991) и «О Севере диком...» (2003).

нет ни склада ни лада
в босоногих молитвах
вот и в сердце прохлады
глубиною в пол-литра

в стёклах бабочка бьётся
с затуманенным взглядом
может кто-то найдётся
из потерянных рядом

сойдут наречия созвучия
оставив только древний смысл
одно дыхание певучее
огнём пронизанную высь

и что там в человеке главное
останется на этот миг
и поплывет волною плавною
его преображённый лик

мы с ума не сошли
не смотрите что лица безумны
просто души сожгли
нам чудесно-небесные струны
нас позвали с земли
и оставили в облаке млечном
и горят корабли
у сверчка в коробочке запечном.

дверь ведущая в никуда
что всегда навсегда открыта
мы ведь это не знаем да
ведь не знаем мы даже вида
не показываем когда
свежий ветер зовёт с собою
а что хочется ерунда
перехочется станет болью

вот стоит и глазом не моргнёт
изначальный хаос мировой
вот он кофе по-турецки пьёт
набивает трубочку травой

и проходит прошлое как дым
и не видно в будущем ни зги
вот и солнце богом молодым
потирает жёлтые виски.

где вы мои самородки
морковкины дети
девы с характером кротким
и с голосом редким

в замыслах мудрых природы
вы лучшие кадры
запах травы приворотной
полоски закатной

снова душа онемееет
от нежного взгляда
даже и думать не смею
что завтра обратно

следом за синею птицей
за чёрною тучей
где самолётик приснится
как тоненький лучик.

сладко на природе дышится
о любви не говорится
в голове туман колыхается
по траве роса струится

ночь листает чернокнижница
дней печальные страницы
всё меняется всё движется
и нельзя на это злиться

я скажу а ты обидишься
чашкой упадёшь разбиться
но согласишься и напишется
но узнаешь и простится.

все силы небесного блеска
и звёзд драгоценных огранка
на месяце красная феска
на солнце простая панамка

на сопках манчжурских полночь
над Санкт-Петербургом прохлада
и ангелов скорая помощь
под сердцем в четыре карата

водоросли на дне
рыбы кружат как птицы
думаешь обо мне
или мне это снится

я приплыву чуть свет
в дом твой с картиной грустной
... так и дружил поэт
с маленькой медузой

* * *

Мы честно трудились и честно умрем.
И нас похоронят живые
в кембрийские глины, в сухой чернозем
и сложат костры огневые.
Ни тени сомнений, ни выслуги лет —
огонь и земля как награды.
И этот ребенок — плюющий вослед —
не знал ничего, кроме правды.

Василий КОСТРОМИН

(1956- 2014)

Василий Костромин работал электрослесарем и инкассатором, плотником и грузчиком, а в последние годы – сторожем, по старой советской традиции поэтов. И все время писал стихи. В 1990 году стихи впервые увидели свет в коллективном сборнике «Стихи по кругу» (Иркутск). В 2002 году вышла при жизни единственная книга поэта – «Произносила золото оса» в иркутском издательстве В.Г.Сапронова.

* * *

Заблудился мыслью лилипутик
в гулливерских белых черепах,
подгоняет быстроногий прутик
гулливерских белых черепах.

Молния в глазах его раскосых,
Дао – возвращающийся щит.
Вертятся дубовые колёса,
скорлупа подземная трещит.

Поцелуем пахнут изумруды,
птицы обрывают провода,
медленными гребнями простуды
остывает пепельниц вода.

* * *

Я не слышу имени в себе,
но его язык мой произносит,
он как будто милостыню просит
в человеческой сумрачной избе.

И проходит камень сквозь ладонь,
сквозь кривые мертвые мозоли,
выкипевших слез щепотку соли,
слизывает солнечный огонь.

* * *

Для чего я жив? Чтобы услышать
тихую вечернюю зарю.
Чтобы под травой шуршали мыши
от апреля ближе к октябрю.

Берегом от матушки Анзёбы
схоронился батя Моргудон...
Для чего живу? Услышать чтобы
зимним утром колокольный звон.

* * *

Мне глубоко там, где речка мелка
от одиночества – это лекарство,
пусть просквозит одинокое царство
холод входящего к вам сквозняка,
пусть я впаду, как впадает река
в озеро, полное звезд и туманов,
где у одежды не будет карманов
и муравьиная тяжесть легка.

* * *

Но там была строфа, которая забыта
я молча обходил свободные места
зовет меня трава из-за бугров размытых
и тает в тишине и холодит уста

И прежних страхов нет и неуютно в доме —
пересекает мир старинный перегон
и чувствует душа в клокочущей истоме
неясную судьбу во времени другом

* * *

Мне напомнило утро напиток со льдом,
свет растаял в чужих разговорах
цепь случайных следов на песке золотом
отразилась в квартирных затворах.

И в мелькании рук погруженных в сады
фиолетовый свет запустенья
окрести керосиновой лампой склады
и запомни свое воскресенье.

Это просто игра: повернуть невзначай
детский профиль моей Прозерпины,
брошен пепел листвы в остывающий чай,
лица замкнутые нестерпимы.

* * *

Я одинок хотя
пространство — как стекло
над стенами летя
меж пальцами легло

Я начал этот мир
алмазною главой
а он сиял как пир
за скошенной травой

Он поднимал дома
из ослепленья лет
меня поднимет тьма
меня поднимет свет

* * *

мнимое закрывшись по каморкам
закатавши рукава сорочек
исходило золотом прогорклым
выпирало фикусом из бочек

и не веря кажущимся людям
занимавшим истины у Бога
я подумал — мы Его не любим
и дрожанье времени убого

* * *

с нами Бог и по вторникам лунным
я наследник таких состояний
где сдвигаются звоном латунным
жернова световых расстояний

и душа в их движениях плавных
занимает пустынные ниши
и белеют в бревенчатых плавнях
родовые летучие мыши

то ли мертвые то ли живые
то ли гусли а то ли колосья
наши мысли сторожевые
рядом с медленно трущейся осью

* * *

Любое слово, сказанное вслух,
Вибрирует пред тем, как расколоться.
Язычество небесного колодца.
Мелькают цифры верстовых козлух.

Утрами ворон проверяет след...
Над сединою молодого снега
Темнеет полоса чужого неба,
Текут дома по склону долгих лет

И погружают дождевой навес —
Речную ртуть двуглавой черепицы —
В хрустальный звон, которого боится
За мной безмолвный уходящий лес.

Василий ОРОЧОН

(1951- 2014)

Поэт и писатель. Автор повести «Семь снов Сани Мартышкина». Дважды лауреат конференции «Молодость. Творчество. Современность» (в 1981 и 1987 годах). Работал геодезистом, плотником-бетонщиком. Печатался в местных газетах: его произведения заняли достойное место в иркутских изданиях «Зеленая лампа» и «Стихи по кругу-2».

* * *

Не торопи меня, мой друг,
не торопи события:
так краток век,
так долог путь
к неведомой земле.
Так память перегружена,
но не могу забыть я
о незаслуженном добре,
о причиненном зле.
Дорога светится в ночи
и манит, и сверкает.
До первой утренней звезды
отправимся мы в путь.
Нас прошлое, хотя б на миг,
на волю отпускает.
Я помню все до мелочей,
всё помню – ты забудь.
Шагай вприпляску, налегке,
как девочка босая,
и восторгайся красотой
и приближеньем дня.
В скале рокошет водопад,
сверкает и сбегает.
Свернем к нему, попьем воды,

и ты пойдешь одна.
Одна по утренней росе
к везению и счастью.
Ну, оглянись, рукой махни,
помедли на углу.
Не надо ни прощальных слов,
ни теплого участия,
оставь меня, забудь про все.
Но помни, что люблю.

* * *

Я бы все позабыл,
изменился бы внутренне, внешне
и признал бы
и всехнюю,
и твою правоту.
Но бегут безоглядно
налитые соком черешни,
презирая заборы,
ручьями стекая во рту.
Как той горькой весной,
соблазняя богатствами юга,
уговаривая
не сбегать никуда,
той далекой весной
когда мы теряли друг друга
навсегда.

Свидание

Нам делить и считать нечего;
не судьба жизнь прожить вдвоем.
Забегай как-нибудь вечером,
посидим да чайку попьем.
В небе светят звездные россыпи,
но никак не для нас двоих.
Наши дети давно взрослые.
А твои... но они твои.
Тишина в неудобной квартире;
крепок чай и сочен лимон.
А таких, как мы, в этом мире
миллион.
То, что в памяти не изгладится,
ни поправить, ни поменять,
но пусть в жизни твоей все ладится.
Без меня...
Вот и свиделись в кои-то веки.
Посидеть, помолчать...
Ни спросить, ни ответить.
Ну, прощай.

* * *

Снова топится печь моя,
снегопад лениво кружит.
Одинокая и беспечная,
продолжается жизнь.
Отречение от невзгод,
без которых никак нельзя.
Во вчера високосный год
по сугробам ползет.
Королевой встает луна
над сияньем покорных звезд.
От Тайшета до Тулуна

Серенады бессонных колес.
Ну, а мне – ни в дорогу, ни в путь,
Полусонный сижу в тепле.
Самого себя взявший в плен,
доживу до весны как-нибудь.
Зашумит большая вода,
зашумит молодая листва,
загремят мои поезда,
заколдуют мои слова,
запоют зазывно ветра
над просторами дальних трасс.
И застынет печь-сирота,
не умеющая летать.

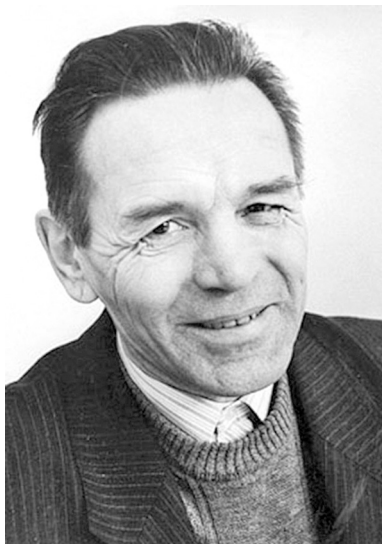
* * *

Тепло, светло и мухи не кусают,
блаженное спокойствие души.
Вот ананас, нарезанный кусками,
вот ром ямайский, крепок и душист.
Уже дымит гаванская сигара,
перепоясан пояс часовой,
а старая гавайская гитара
уже дождалась часа своего.
Споём про яростных, про непохожих,
про уходящий в океан фрегат,
про лапы якорей у нас под кожей,
про женщин на далеких берегах.
Напрасных сожалений не мусоля,
мы ведаем давным уже давно,
что счастья нет, но есть покой и воля,
гитара, трубка, песня и вино.
...Сменяется реальностью суровой
непродолжительный веселья час.
И сонно проплывает в луже рома
наш полузатонувший ананас.

* * *

В чистом поле снег порастаял.
А грачей-то на ветках сухих!
Наши предки рогатки расставили
на таежных тропах глухих,
заповедных да маловедомых,
чтоб не знамо проходу чужим.
Им тягаться под силу с медведями,
тигра путать живым в гужи,
им тайгу корчевать да распахивать,
рубежи по степи защищать,
и, заламывая папахи,
на кругу им «любо!» кричать...
А за дальними за перевалами –
беловодья большая вода.
В тех краях никогда не бывали мы
и туда не дойдем никогда.

Виктор ЦЕБЕРЯБОВ



Юрий Черных: «Я не приемлю эту жизнь...»

Юра Черных... Юрий Егорович Черных – для многих. Но с тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года мы были в друзьях. Поэтому для меня – Юра. Чем была обусловлена наша встреча и с какой целью – сказать трудно, да и мало ли людей встречается на белом свете.

Первое из внешности Юры, что сразу обращало на себя внимание – это, конечно, рост. При моих ста шестидесяти шести сантиметрах он мне показался гигантом, чем-то похожим на Довлатова, такой же худой и чёрный. При сближении – черты лица: чёрные волосы, чёрные глаза и горестные складки у рта, заметные даже когда он улыбался. Было только непонятно, по какому принципу Господь действовал: сначала придумал фамилию, а потом подогнал под неё Юрину внешность или после рождения подумал о том, как обозначить появившееся на свет. Как бы там ни было, но жизнь, на мой взгляд, полностью подтвердила ярлык, прилепленный к Ю. Черных при рождении в виде фамилии, ибо радостей, насколько можно было судить из его рассказов о себе, у него было не в избытке.

Не могу чётко сказать даже сейчас, что так разрывало его душу. Было лето пока только третьего года горбачёвской перестройки, политическая обстановка по сравнению с тысяча

девятьсот девяносто четвёртым годом – последним годом его жизни – вполне привычная социалистическими устремлениями, но что-то очень большое и очень горестное не пускало часто на свет его обаятельную улыбку.

В то время он жил в общежитии завода «Сибтепломаш», на котором работал, если не ошибаюсь, экономистом в транспортном цехе. Там же в то время в инструментальном цехе художником работал и я. В том же общежитии, только в другой комнате поселили и меня. Поэтому не встретиться нам было не судьба. Сблизились быстро, так как общего было предостаточно. Любовь к творчеству, яркое равнодушие к глупости и внутренняя душевная неустроенность были достаточными факторами, чтобы два одиноких человека нашли друг в друге хотя бы временное утешение.

Так устроена человеческая память, что не под силу ей хранить всё, с чем встречается человек на протяжении всей жизни. Не помню и я всего, о чём мы говорили в то время. Просто некоторые факты.

Родился Юра в городе Усть-Кут Иркутской области, но потом семья переехала в посёлок Нижне-Илимский, где и прошло его нелёгкое довоенное и военное детство. Об этом периоде его жизни не имею никакой информации (где, что и как). Но, как ни странно, ни охотником, ни рыбаком, как основная масса родившихся в тайге людей, он не стал. Видимо, тонкая душевная организация, заложенная, возможно, в генах, отвращала от самого понятия убивать – позволяла только любоваться и восхищаться природной красотой. Неспроста прожил жизнь с чистейшей светлой душой, что и вылилось в такие прекрасные детские стихи.

Из рассказов о детстве мне запомнился эпизод о том, как в их посёлке во время войны садились американские «Дугласы», которые США поставляли СССР по лэнд-лизу, и на которые они с мальчишками и вместе со всей деревней сбегались смотреть. Такие вещи не могут не врезаться в детскую память, чтобы остаться там навсегда, хотя в его творчестве я

не встречал упоминания им об этом нигде. Но это и неважно: не всё из жизни творческих людей переходит в их творчество.

Помню, он говорил, что по окончании института его направили в город Железногорск-Илимский, где работал какое-то время, но ничего примечательного об этом периоде не запомнилось. Что-то о жене, о дочери – очень вскользь. Да и не принято среди творцов обсуждать житейские мелочи. Потом работа в одном из автотранспортных предприятий Центральной части г. Братска – не могу сказать точно о протяжённости по времени этого факта в биографии Ю. Е. Черных.

И вот завод отопительного оборудования, как он тогда ещё именовался. Не однажды я бывал в его конторе, где он непосредственно трудился, потому что один из его коллег неплохо играл в шахматы, и в обеденный перерыв Юра нас ставлял, азартно болел, потому что играл и сам, но похуже.

Как выяснилось из моих наблюдений, все очень хорошо к нему относились, с уважением, никто не называл даже Юрой – Юрий Егорович или просто Егорыч, что склоняло к мысли, что человеком и работником он был хорошим.

Всякий русский человек имеет под рукой первейшее и ценнейшее на его взгляд лекарство от любого уровня душевной болезни – алкоголь. Как было сказано ранее, Юрина душа болела почти постоянно. Очень трудно о некоторых (а то и о многих) людях сказать, что у них первично: природная ли предрасположенность к алкоголю пробуждается болью или боль делает из них существо, ищущее забвение в водке. Юра был запойным. Бывали и прогулы, но, как ценного специалиста – не увольняли.

Однажды он попросил меня сделать иллюстрации к своим стихам в заводскую многотиражку, которая выходила тогда, как мне теперь кажется, с завидной регулярностью. Названия, правда, не помню. Стихи были размещены в самом низу газеты узенькой полоской, поэтому картинки пришлось делать чуть ли не ювелирными. Но радость была большой, когда газета вышла, причём радовались вместе. Стихи были, конеч-

но, для детей, я в них, к своему стыду, мало что смыслил, но процесс сотрудничества, правда разового, имел место. Но что самое важное и интересное, как я совершенно недавно узнал, что в это время он уже был весьма популярен, уже Пахмутова давным-давно написала на два его стиха музыку, в Иркутске многотысячными тиражами выходили его книги для детей – а Юра скромненько работал экономистом, каждый день имея дело с сухими цифрами и никакого даже намёка на какую-нибудь звёздность я не заметил, жил рядом с ним в полном и непростительном неведении, с кем свела меня судьба ...Но, зная, так ей было нужно.

Точно не помню, но, кажется, перед самыми событиями тысяча девятьсот девяносто второго года завод выделил Юре однокомнатную квартиру, которая стала для него раем как для жизни, так и для творчества. Новоселье справили Юрию Егоровичу в лучших традициях, принятых в эту честь издавна на Руси.

Количество стихов, естественно, стало расти с геометрической прогрессией.

Когда начал водворяться капитализм со всеми его извращениями, Юра как-то произнёс: «Я не приемлю эту жизнь!» Эти слова до сих пор звучат в моих ушах. Стал ещё более нервным, запои пошли за запоями. Вдруг узнаю от него, что решил вернуться к жене в Иркутск, квартиру может сдать в аренду за умеренную плату. Радости моей, естественно, не было предела.

Не помню, сколько я там прожил. Но зарабатывать стало невозможно художникам, и в очередной раз я просто физически не смог за квартиру заплатить. Как раз к этому времени Юра уже созрел продать её и нашёл покупателя. Нетрудно догадаться, что последняя наша с ним встреча была уже не столь дружественной. Через небольшой промежуток времени я узнал о Юриной смерти...

Александр КУЗЬМЕНКОВ

Не страшно, аж жуть

Русский хоррор: наплевать и забыть

В черном-черном городе за черным-черным столом четыре черненьких, чумазеньких чертенка по-черному писали всякую хрень. Это и есть исчерпывающая характеристика русского хоррора. А все остальное – лишь развернутый комментарий к ней.

Не выходи из комнаты

В начале 90-х все мы твердо веровали: свет невечерний на Западе воссияет. А потому вместе со спиртом Royal и батончиками Milky Way импортировали все популярные жанры тамошнего масслита, по алфавиту – от автофикшна до трэша. Публика, до полусмерти закормленная ржавыми болтами в томате, до полусмерти же обрадовалась обилию жвачки в цветных фантиках: бешеные-меченые и казенские-таракановы шли на ура наравне с гопотой-наркотой и грязными авторскими трусами.

А вот с ужасами как-то не задалось. Ни у писателей, ни у читателей. Впору повторить вслед за публицистом: почему Россия не Америка?

Классический хоррор начинается там, где кончается зона комфорта. Где неуютно американцу? – где Темный Лорд, где зомби бродят, и Крюгер на ветвях сидит. Где неуютно нашему соотечественнику? – везде: в больнице, в магазине, на улице, на службе... Бухой водила, начальник-самодур или медсе-

стра-недоучка со шприцем в руке такое вытворят, что «Некрономикон» букварем покажется. Survival – это в Америке подвиг, а в России образ жизни. Ибо наша зона дискомфорта много шире – настолько, что стала вполне привычной декорацией. Безлюдный поселок для янки – сигнал бедствия: либо вампиры полютовали, либо пришельцы-рептилоиды распылили особо свирепую заразу. Судорожно набираем дрожащими пальцами 911. А у нас... да отправляйтесь вы автобусом от Братска до Иркутска, там по обочинам трассы брошенных деревушек больше, чем феминисток в Нью-Йорке. Особенно безотраден Куйтунский район: сплошная мерзость запустения. Но звонить по номеру 112 абсолютно незачем: рептилоиды не при делах.

Переведем разговор в литературную плоскость. Привычная мораль буржуинского хоррора: *don't seek adventures on your ass*. Не разговаривай с неизвестными, не сворачивай на неведому дорожку, не оживляйдохлого кота, не трожь спиритическую доску – бесконечный, в общем, реестр. Наша техника безопасности состоит из единственного параграфа: не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Хотя, по совести, и это не гарантия.

Вадим Эрлихман, один из первых переводчиков Стивена Кинга, писал: «Нам бы их проблемы! Подумаешь, палец из раковины вылезит или призрак бабушки пугает по ночам! Поглядели бы мы на этих неврастеников, если бы с них требовали откат, ставили на счетчик и вызывали на стрелку...»

Сравните два елизаровских текста – «Госпиталь» и... ну, скажем, «Ногти». Первый абсолютно реалистичен, но при этом не в пример страшнее и талантливее мертворожденной мистики. И так, между прочим, было всегда. И у всех. Полистайте рассказы Леонида Андреева «Бездна» и «Он» – какой впечатляет больше?

Степан Королев

При таких-то вводных с отечественным хоррором надо бы поступить по рецепту легендарного начдива: наплевать и забить. Ан нет, попытки имеют быть и по сей день. Большой частью неудачные.

Приспособить жанр к российским реалиям не очень-то получается: действительность много богаче вымысла. Поэтому авторы идут по пути наименьшего сопротивления: перерабатывают давальческое сырье. Тащат, как правило, у Кинга: красть, так миллион.

Пионеров-вампиры из ивановского «Пищблока» еще не забыли? – то ли «Жребий Салема», то ли «Доктор Сон», только упыри в красных галстуках.

Бобылевские «Вьюрки»? – это, к бабке не ходи, «Под куполом»: нечто неведомое, но грозное, перекрыло выходы из садово-огородного товарищества, и все заверте.

Некрасовская «Калечина-Малечина» – клонированная «Кэрри»: девочка, затравленная учителями и одноклассниками, сводит счеты с ненавистными супостатами. Вся разница в инструментах мщения: там – телекинез, тут – колдовство кикиморы.

Лет 10 назад Владислав Женовский на ФантАссамблее в Питере говорил: «Начитавшись Кинга, человек пытается спроецировать его приемы на Россию – и получается, конечно же, ерунда».

Однако эксперименты по выведению Степана Королева продолжаются. Жаль, у викторов наших франкенштейнов руки не к тому месту приделаны.

Раз уж к слову пришлось: Кинг с усмешкой называл себя литературным эквивалентом гамбургера. На российской адской кухне читателя из года в год потчуют непропеченными пирожками всех сортов: Иванов со товарищи – столовскими с повидлом или капустой, Идиатуллин – эчпочмаками, Галина – хоменташем.

Бессмысленный и беспощадный

Беспощадным хоррору надлежит быть по определению. А вот бессмысленным – вряд ли. У того же Кинга за деянием следует неотвратимое воздаяние. Воскресил кота вопреки законам Божеским и человеческим – получи, фашист, гранату: злобную нежить вместо жены и сына. Сбил на дороге цыганку и облыжно отмазался на суде – худей! Ибо не фиг.

Но у советских собственная гордость.

Самый, пожалуй, осмысленный ужастик последних лет – «Пищеблок». В одном из интервью, приуроченных к выходу романа, Иванов растолковал для особо понятливых: «Вы замените понятие “вампиризм” понятием “идеология” и все станет ясно. Вампиризм в романе – метафора общественного поведения, а не просто потребность в человеческой крови». Хм. Спорное, по-моему, утверждение: нынешний идейный вакуум с многочисленными суррогатами вроде «суверенной демократии» или «глубинного народа» стал наилучшей средой для оголтелого кровопивства, куда там графу Дракуле. О чем дважды доложил Пелевин: в «Empire V» и «Batman’e Apollo». Тем не менее, отрицать идею в «Пищеблоке» нельзя, как нельзя спорить с таблицей умножения.

Не то у остальных.

Бобылевские «Вьюрки» – роман в рассказах, каковых, если не путаю, одиннадцать. При этом для идеи текста, Великого Женского Самопожертвования, важны от силы два. Все остальное – белый шум, совершенно бесцельный, как пальба на кавказской свадьбе, как матюги возле рюмочной. С конъюнктурным, а la Иванов, привкусом: ночами гипсовый безглазый Ленин по улицам шляется.

Некрасова строит всю свою мистику по неизменной схеме: было так, стало этак, а потом вернулся статус кво. «Несчастливая Москва» изготовлена по тем же лекалам. Пишбарышня невеста за какие грехи обрушивает на первопрестольную ж-жуткие кары. Сначала москвичи просыпаются босхиански-

ми монстрами – у героини, к примеру, кишки наружу, сиськи разнокалиберные, из скул и сосков торчат пучки волос, а лицо заросло чирьями и гнойными бородавками. Следующий номер программы – повальный промискуитет. Потом все массово теряют конечности, а после столичных жителей поражает жестокая дислексия – и далее по списку, пока порядок сам собой не восстановится. Казней некрасовских семь. Как и московских колец – от МКАД до Кремлевской стены. Как и смертных грехов. Нутром чую: где-то тут собака зарыта. Но так глубоко, что без экскаватора не управиться.

У Веркина в «Острове Сахалин», как понимаю, была одна сверхзадача: образованность показать. Текст смонтирован из литературных аллюзий, в основном made in Japan: Оэ Кэндзабуро, Мураками Харуки, Акутагава Рюноскэ, Арисима Такэо... Ради авторского самолюбия, видимо, и стоило таскаться туда-сюда-обратно, отбиваясь от беглых каторжников и зомбаков, больших каким-то, хрен поймешь, мобильным бешенством. А с прочими смыслами полная кэцуноана, уж простите мой японский.

Да если бы только это.

Добыча радия

Мистическая составляющая у российских прозаиков обычно страдает рахитом, дистрофией и болезнью Бехтерева.

В «Пищевлоке» вампирскими талисманами служат пионерский галстук и значок. Если нет под рукой значка, юные упыри рисуют на груди шариковой ручкой звезду. Любопытно, как пентаграмма, символ пяти ран Христовых, может быть для них оберегом? Креста вурдалаки традиционно боятся, но пахан ихний, темный стратилат, хаает нательные крестики, как леденцы. Хоть бы для приличия поперхнулся, сволочь. «Тут в лагере вообще одни глупости», – вынесла суровый вердикт одна из ивановских пионерок. Полностью присоединяюсь.

Бестиарий во «Вьюрках» ровно тот же, что и в «Ведьмаке-3»: игоша, полудница, леший, утопленники. Поневоле задумаешься, что вдохновляло Бобылеву – славянский фольклор или, все-таки, RPG от CD Projekt RED?

Веркин, тот вообще концы с концами свести не в состоянии. Сначала долго и нудно рассказывал, что при мобильном бешенстве зубы выпадают, а потом натравил беззубых зомби на людей. Стесняюсь спросить, каким таким местом нежить кусается?..

Проблема в том, что все это еще надо извлечь из-под залежей словесного мусора. Тяжелая работа: в грамм добыча, в годы труды.

Прежде чем в «Пищевом блоке» хоть что-то начнется, читателю предстоит марафонский бег по экспозиции – 17 996 слов, примерно четверть романа: горны-барабаны, линейки-кружки, Олимпиада-80, детский фольклор оптом и в розницу. Остальное не лучше: сплошные фабульные тупики. Ну, подбросили пацану в чемодан чужие джинсы. Ну, замутила девка из второго отряда с пацаном из четвертого. И?.. Графа «ито-го» пустует, кровососам поживиться нечем. На выходе вместо лютой vampire story имеем считалочку: на золотом крыльце сидели вампир, вампиревич, упырь, упыревич, голодный ведьмак и злой вурдалак, а кто не спрятался – сам дурак.

Идиатуллинский «Убыр» – та же самая полоса препятствий: экспозиция в 18 150 слов плюс бесконечные пробуксовки. Типа этой: «Боль от удара достигла нужных нервов – и я охнул. И поднял голову. И увидел, что свинья отодвигается для разбега». Далее следует свинская коррида, четыре хрюн-деля против матадора: 1 890 слов. И кабы она одна. Есть еще кредиты, ипотека, меню семьи Измайловых, перманентные походы в сортир и прочие архиважные для читателя подробности.

У Веркина в «Сахалине» ретардации на любой вкус: детальное описание макинтоша – 1 260 слов, догматы секты ползунов – 1 556 слов, история сахалинских каст: прикованных к

ведру, к багру и к тачке – 1 348. И на кой мне все это знать, если ни ползунов, ни прикованных я больше не встречу? А чтоб служба медом не казалась: чувствуешь себя прикованным даже не к тачке – к двухпудовой гире.

И на десерт – галинские «Автохтоны». Вам доверительно расскажут про погоду, сообщат два-три рецепта еврейской кухни, вроде чечевичной похлебки или гефилте гезеле, устроят безразмерное культурологическое ток-шоу. А ужасы на поверку окажутся полным фуфлом: зловещие красные глаза в темноте – огнями телевышки, вервольфы – заднеприводными байкерами. Было из-за чего огород городить, ага.

После этого всю команду авторов впору привлекать по статье 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей», части 2-й: введение потребителей в заблуждение относительно свойств товара. Но изящная словесность у нас вне правового поля. Прискорбно.

Вопль из-под очков

Когда дело доходит до живаго великорусского, грядет синергия жанров: ужас плавно перетекает в клоунаду.

Идиатуллин: «Дилька, вопившая из-под запотевших очков с середины улицы...» – как такое возможно? Очки на рот сползли? Кстати, кто был в очках – Дилька или улица?

Он же: «Она <дверь – А.К.> мягкая была, потрошеными валенками обита». Валенки с потрохами – всем кошмарам кошмар, страшнее убырлы карчык и шурале. О, Аллах Слышащий, Видящий!

Некрасова: «Саша сидела, дыша астматиком»; «Саша встала впаянной в гранитный пол», – отлить в граните, сказал бы еще один знатный стилист.

Она же: «Чтобы красная девица Зазноха горевала по рабу Божьему Евгеньеву во все суточные», – это, простите, как? На 700 рублей в день, согласно статье 217 Налогового кодекса РФ?

Веркин бьет все рекорды коллег: «Мэтр многочисленно болен»; «разноброс методов»; «зарекомендовавшим себя с законопослушной стороны»; «пули врубались в туловище поэта и произвели с ним значительную ревизию». Тяжелый случай: редактор бессилён, пора в коррекционный класс.

Ну, вы поняли: здесь все прекрасно без извилин. Как у Олега Попова или Карандаша.

Они пугают...

Сложите все перечисленное, и суммой будет толстовский афоризм: они пугают, а мне не страшно.

Добавить к этому ровным счетом нечего.

Детская площадка

Галина КРАВЕЦ

Весна

Солнце смотрит в лужицы,
Словно в зеркала.
От веселья кружится
Солнца голова!
Рыжее, кудлатое,
В шляпке золотой.
Предложу лохматому
Частый гребень свой...
Почек липких кожица
Лопнула едва.
Где сугроб скукожился –
Бирюзой трава.
На осколки множится
Солнца яркий лик.
Корчит дерзко рожицы
В лужах озорник!

Манекен

Мелькают лица сквозь витрину.
И не приму, и не отрину
Я свой не очень хитрый быт.
Одет, обласкан и забыт...
Гляжу сквозь пыльное стекло:
Там то прохладно, то тепло.
Мелькают лица, шляпы, ноги.
Как безобразны лица многих...
Никто вниманьем не отметит
И на вопросы не ответит.

Не сменят пыльный мой наряд.
...Сезон не тот, уж говорят...
Забыт... Забыт? Забыт, увы!
Не повернуть и головы.
Не шевельнуться, не вздохнуть,
К соседке рук не протянуть.
Цветное улицы кино
Мне опостылело давно...
Лишь пес бездомный подмигнул
И словно в душу заглянул.

В кухне, в маминой кастрюле
Оживало молоко:
Задышало, задрожало,
Шапкой поднялось легко.
В кухне в маминой кастрюле
Убежало молоко...
Мы довольны, мы ликуем:
Значит, будем пить...
компот!

Цыганочка и апельсин

По вагонам шли цыгане,
И девчонка лет пяти
С именем, что держат в тайне,
Повстречала апельсин.
Круглый рыжик-апельсин
Как прилип к ладони дерзкой.
Взгляд беспомощный и детский
О прощении просил.
Так желанен плод бесценный
В яркой шубке золотой.
Весь облизанный мгновенно,

Прижимается щекой.
Пылко пляшет озорница
И гадает по руке –
Неумытая жар-птица
В бескупейной суете.
Апельсин в ладони липкой
Спит оранжевым клубком.
Голоском нежнее скрипки
Пела девочка потом.
И ушла в преддверье ночи,
Предсказав судьбу впотьмах,
По-цыгански напорочив,
С апельсином на руках!

Мастер

Доска дрожала под пилой,
А та от радости звенела.
И дух древесный то и дело,
Свиваясь стружкой кружевной
И ароматы источая,
Напоминал о той поре,
Когда, бетонных стен не зная,
Дрова рубили на заре.
Когда дома из мощных бревен,
Душистых, свежих, смоляных,
Вдоль улицы стояли вровень,
Пуская дым из труб печных.
И мастер в облаке опилок,
Со стружкой в волосах седых,
С руками в сетке синих жилок,
Глядел на дело рук своих.
Смолистый дух, дурманя, реял,
Светилось дерево слегка.
И превращалась в чудо-двери
Простая грубая доска...

Свободолюбивый трамвай

Трамваю снились по ночам моря и горы,
И жарких пляжей солнечный уют.
А днем в салоне – суета и злые споры,
Стальные рельсы сбиться с курса не дают.
Не отпускает город. И привычно,
За кругом круг, дрожа и дребезжа,
Обычных пассажиров анемичных
Он развозил, по городу кружа.
Блестели рельсы так неумолимо,
Не отпуская, предрекая путь.
Красивые авто летели мимо,
И им трамвай завидовал чуть-чуть...
Они-то знают вкус свободы пряный,
Они вкусили ветер перемен!
Но параллельны рельсы и упрямы,
И мертвой хваткой неизбежный плен.

Пришло прозренье в тишине ночной,
Трамвая сон нарушив и покой,
Что, не свернув с привычного пути,
Свободу никогда не обрести!

Сказка о русалке

Русалку выбросило море
На пляж песчаный золотой.
По пляжу разливалось горе,
Украл у вечера покой.
Был берег весь переполошен,
Впервые случай здесь такой.
Был звездным светом припорошен
Тревожный пенистый прибой.
Она лежала бездыханна,

Переливаясь в свете звезд,
И впитывались в пляж песчаный
Два ручейка соленых слез.
Дельфины плакали в прибое,
Не в силах девушке помочь:
Забрать ее на дно морское
И там баюкать день и ночь.

На пляж прохладный ранним утром
Купаться шла толпа друзей
И, обступив в тревоге смутной
Русалку, все дивились ей.
Затихли споры, смех и шутки.
Без лишних слов, красивых фраз
Красотку погрузили в шлюпку:
– А кто поможет, кроме нас?

По вечерам, друг с другом споря,
Друзья на пляж для новых встреч
Спешили, чтоб увидеть в море
То взмах хвоста, то отблеск плеч...

Детские стишата

У Маринки над кроватью
Ангел – крылышки в пыльце.
На подушке дремлют пятки...
Спит улыбка на лице...
Охраняет ангел крошку
От любых серьезных бед:
В жизни все не понарошку,
Если мамы рядом нет!

У детей свои причуды –
Рано учатся хитрить!
«Я сегодня лялькой буду!
Надо ляльку покормить!»
И не хочет ложку брать,
Хочет рот лишь открывать...

Мы вчера играли с тенью –
Наступали ей на пятки!
Мы подпрыгивали смело –
Тень за нами повторяла.
Мы руками помахали,
Ну и тень махала тоже.
До чего же интересно
Подружиться с черной тенью...

Елена ПОПОВА

Помощница

Я сегодня рано встала,
По хозяйству помогала:
Мыла чашки, ложки, плошки
Всей семьи, и даже кошки.

Видно, я поторопилась,
Чашка мамина разбилась.
Соскользнув с посудной полки,
Разлетелась на осколки.

Вышла мамочка из зала.
– Это к счастью, – мне сказала.
Если чашки к счастью бьются,
Может, мне разбить и блюдце?

Кошка

Кошка села на окошко,
Надоело ей лежать.
Посидит немножко кошка –
И к котяткам вновь бежать.
Молока нальём ей в плошку,
Отойдём и поглядим,
Как тихонько мама-кошка
Промурлычет что-то им.

Сон-травя

Под сосной у снежных кочек
Замер маленький цветочек.
Рад пришедшему теплу –
Распустился поутру.

Как небес лазурных дали,
Сон-травой его назвали.
Под сугробами зимой
Спал цветок весенний мой.

А проснулся ближе к лету –
Потянулся к солнцу, к свету.
Смотрит жёлтеньким глазком:
Сколько нового кругом!

Боровик

Нет тайги без сосняков
Да грибов-боровиков,
И сибирский наш народ
Белым этот гриб зовёт.
Без гриба мы никуда,
Без него скудна еда.
Он и статен, и высок,
И не носит поясок.
И суши, и щи вари,
И хвали, и говори:
– Неспроста решили встарь:
Над грибами белый – царь.

Содержание

Владимир МОНАХОВ	3
Екатерина СЕРБСКАЯ	8
Виктор СЕРБСКИЙ	19
Владимир МОНАХОВ	24
Владимир ЭКСПРЕСС	65
Галина ГНЕЧУТСКАЯ	67
Елена ПОПОВА	71
Инна МОЛЧАНОВА	75
Маргарита ИСАКОВА	80
Ольга КОРЕПАНОВА	91
Татьяна БЕЗРИДНАЯ	97
Денис МЕДОВЩИКОВ	103
Вадим СКВОРЦОВ	108
Сергей ЖАРИКОВ	113
Василий КОСТРОМИН	117
Василий ОРОЧОН	122
Виктор ЦЕБЕРЯБОВ	127
Александр КУЗЬМЕНКОВ	131
Галина КРАВЕЦ	139
Елена ПОПОВА	145

Приморская, 49

**Альманах №4
Иркутского отделения
Союза литераторов России**

Составители: В. Монахов, Е. Попова

Корректурa авторов

Обложка: А.А. Хомченко

Технический редактор: А.А. Хомченко

Подписано в печать 01.08. 2022 г. Формат 148х210 1/16. Бумага офсетная.

Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная. Тираж 150 экз.

Отпечатано: Типография «Полиграф».

г. Братск, ул. Южная, 8, строение 3, 1 подъезд.

Тел./ф. 41-00-04. E-mail: ps@bratsk.ru



Портрет поэта Василия Костромина

Виктор Цеберябов.
2015. ДВП, м. 110х86.



— Я слышал о том, что Наймушин любит стихи и даже сам их пишет, но что в ту ночь состоится мой первый в жизни творческий вечер, не предполагал. Я читал всё, что мог припомнить, свое и чужое. Прочел поэмы «Сын» Антокольского, «Сын артиллериста» Симонова, «Анну Снегину» Есенина, свою «Бирюсинский детдом», стихотворения «Бурундук» Жигулина, «Переключка» Бушко, «Зима 38 года» Р.Рождественского, «Наследники Сталина» Евтушенко, «Ребята из детдома» и «Кривой сухарь» Фонякова и переписанную его рукой «Курсистку» Смелякова, и даже «Бедного Филю» Рубцова. Читал Сергея Орлова, Александра Межирова, «Сухое вино» Александра Яшина. Читал Вадима Шефнера, Степана Щипачева, Василия Федорова, стихи Маяковского, которых я тогда знал великое множество, главы из его поэмы «Хорошо», а Наймушин все просил еще и еще. Особенно тепло он воспринял мои детдомовские и антисталинские стихи, но я прочел и свои, написанные на смерть Сталина. Наймушин, как настоящий коммунист, одобрил: «Тогда все так считали».

Виктор Сербский «Переход через Ангару»

НАЙМУШИНА, 54